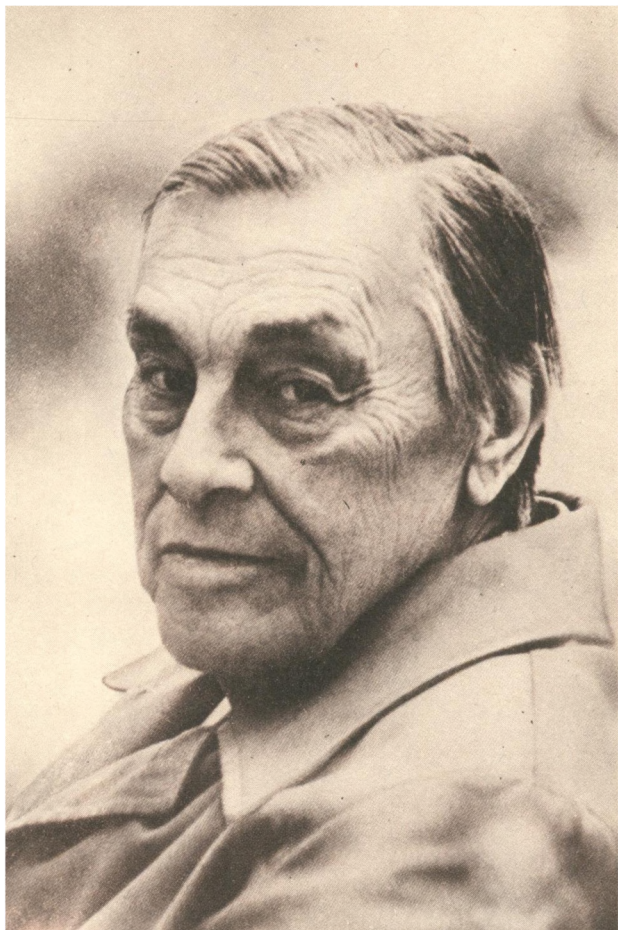


Арсений Марковскій

1



А. А. Тарковский. 1976 г. Фото В. Корнеева.

Арсений Марковский



МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ЛИТЕРАТУРА»

Арсений Марковский

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В ТРЕХ ТОМАХ



МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ЛИТЕРАТУРА»
1991

Арсений Марковский

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ТОМ
ПЕРВЫЙ

СТИХОТВОРЕНИЯ



МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ЛИТЕРАТУРА»

1991

«ЗАГОРЕТЬСЯ ПОСМЕРТНО, КАК СЛОВО...»

Человек он был замечательный...

Кто не знал лично Арсения Александровича Тарковского, тот, судя по наиболее характерным его стихам, мог представить себе поэта человеком сугубой серьезности, значительным в каждом жесте и слове, недоступным и строгим жрецом искусства.

Действительно, тон поэзии Тарковского драматически напряжен, приподнят, порою даже возвышен и торжествен, строка звенит тетивой натянутого лука. «Прекрасное должно быть величаво». Да, таким Арсений Тарковский вступал в пределы поэзии, входил, как в храм, но в тиши одиночества, без соглядатаев, перед Вечностью и чистым листом белой бумаги. Он остро чувствовал чудо жизни и ее трагизм, постигал ее тайны с трезвой проницательностью ученого и вдохновенным прозрением художника.

А в жизни он был прост, естествен, даже застенчив. И абсолютно чужд того эгоцентризма, которым бывают поражены служители муз. Никакой величавости, никакой дистанции. Он любил юмор, в кругу друзей мог позволить себе шалость, умел хохотать, как ребенок. Он был так заразительно жизнелюбив, что рядом с ним вы ощущали крылья за спиной, о которых не подозревали. В жизни он был — как Моцарт, в поэзии — как Бах.

Кстати, он преданно и сильно любил музыку, был тонким и глубоким ее ценителем, его фонотека могла соперничать с его незаурядной библиотекой.

Арсений Тарковский, страстный книголюб, сам представлял перед собеседниками живой энциклопедией, чувствовал себя как дома в просторах мировой культуры. Предупредительный, отзывчивый, не ведающий, что такое тщеславие и зависть, он был благороден, обаятелен — сама доброта. Но не в ущерб правдивости. Он судил об искусстве «по гамбургскому счету», был нетерпим к несовершенным, неистинным произведениям. Правда, он старался (и умел) найти в таких случаях необходимую форму для своего приговора. А если перед ним оказывался слишком ранимый автор, то мог и вовсе промолчать, перевести разговор на Пушкина, Тютчева или предложить послушать новую пластинку.

Истинный интеллигент большая редкость в наши дни.

В чертах его лица удивительнейшим образом сочетались мужественность и мягкость, мудрость и детскость. Он был красив.

Жизнь Арсения Тарковского охватила чуть ли не весь двадцатый век. Поэт родился в начале столетия, в 1907 году, умер в 1989-м. Родился в отсветах первой русской революции, умер в разгар перестройки, при последнем, будем надеяться, революционном повороте страны... Детство прошло в Елисаветграде (ныне Кировоград), где он еще подростком увидел, благодаря отцу, приехавших на выступления известных поэтов Федора Сологуба, Константина Бальмонта, Игоря Северянина. Учился в гимназии, в музыкальной школе, в семнадцать лет приехал в Москву, попал в своеобразную искрометную среду молодой литературы в редакции газеты «Гудок», которой повезло на таланты русского Юго-Запада. Там начинали Булгаков и Олеша, Катаев, Ильф и Петров. В 1928 году Арсений Тарковский опубликовал первые стихи в периодической печати... Если сразу заглянем в конец его творческой биографии, то он, как говорится, делу венец: лет через шестьдесят вышла книга «От юности до старости», за которую поэту была присуждена Государственная премия СССР.

Арсений Тарковский дожил до глубокой старости, его творчество при жизни получило читательское, литературно-критическое и общественное признание: крупный русский поэт, первоклассный художник, мэтр, мастер стиха.

Счастливая судьба? Пожалуй. Однако с весьма существенным уточнением: судьба оказалась милостивой к поэту лишь на склоне лет.

Все, что сбыться могло,
Мне, как лист пятипалый,
Прямо в руки легло,
Только этого мало.

(«Вот и лето прошло...»)

Признание отнюдь не спешило, прямо скажем — сильно припозднилось. А Государственная премия оказалась посмертной — поэт не дожил до нее нескольких месяцев...

Свое пятидесятилетие Арсений Тарковский отмечал, не имея ни одного сборника стихотворений. Да и публикаций почти не было. Только переводы, переводы... Тарковского ценили как одного из лучших современных переводчиков, но мало кто знал, что он — поэт. Лишь в 1962 году вышла его книжка, невесело названная «Перед снегом». Горечью пронизаны строки из стихотворения «Поздняя зрелость»: «Дай мне еще склониться с вершины, дай удержаться до первого снега...»

По чистой случайности доля поэта не стала трагической. Безвестным стихотворцем он мог быть убитым на войне, после ранения в 1943 году лишился ноги.

Стол повернули к свету. Я лежал
Вниз головой, как мясо на весах,
Душа моя на нитке колотилась...

(«Полевой госпиталь»)

Инвалидом его нельзя было назвать, он игнорировал увечье, никогда ничьей поддержки не просил, сам всегда бросался на помощь.

Он мог погибнуть после войны при очередной волне репрессий, но в 1946 году была уничтожена лишь первая книжка его стихотворений. Поэт держал в руках верстку, книгу почти успели отпечатать, и вдруг... Жданов разгромил Зощенко и Ахматову, и книжку Тарковского как безыдейную отправили под нож. Тяжелая травма для поэта, к сорока годам решившего наконец предстать перед читателями. Настолько тяжелая, что он долгие годы и слышать не хотел о возможности публиковать свои стихотворения. Он замкнулся, продолжая много и блистательно переводить восточных и европейских поэтов.

Для чего я лучшие годы
Продал за чужие слова?
Ах, восточные переводы,
Как болит от вас голова.

(«Переводчик»)

Десятилетиями в современной литературе он был и его не было. Поздний его дебют состоялся почти одновременно с режиссерским дебютом его сына, Андрея, выпустившего фильм «Иваново детство»... Каково же было потом отцу пережить гонения на сына, его смерть на чужбине! Как тут не вспомнить пророческие строки отца, прозвучавшие в знаменитом фильме Андрея Тарковского «Зеркало» — строки из стихотворения «Первые свидания», благодарного гимна счастью не ведавшего, что «судьба по следу шла за нами, как сумасшедший с бритвою в руке».

После революции мир русской поэзии пережил трагические утраты: расстрел Гумилева, Б. Корнилова, Васильева, Клюева, самоубийства Есенина, Маяковского, Цветаевой, гибель Мандельштама, гонения на Ахматову и Пастернака, изгнание Бродского. Судьба Арсения Тарковского на таком фоне кажется благополучной. Сравнительно благополучной. Но разве от сравнений легче? «Трещина мира» прошла и через его сердце. Поэта тридцать пять лет держали в неизвестности. Да и потом вряд ли можно сказать, что признание Тарковского стало бесспорным.

Еще не так давно, в 1981 году, критик Вадим Кожинов сразу в двух изданиях (в альманахах «Поэзия» и «День поэзии») тщился отлучить Арсения Тарковского от пушкинской традиции, утверждая, что он — продукт некоего «лефоакмеизма», от которого так и не избавился, — дескать, перед нами поэт вторичный, более чем вторичный, ибо перенял стиль сразу у пятнадцати забытых поэтов двадцатых годов, таких как Ланн, Леонидов, Манухина, Моница, Укше и другие, чьи стихи «чрезвычайно близки по всем своим стилевым качествам к стихам Арсения Тарковского».

Забавно. Стиль одного поэта оказывается одновременно «чрезвычайно близким» к стилю пятнадцати других. Еще забавней предположение, что значительный поэт может быть порожден целым рядом не очень значительных или вовсе не значительных стихотворцев. Но дело не в «доводах» критика, а в том, что и в восьмидесятые годы предпринимались попытки умалить творчество Арсения Тарковского, «потревожившего» литературный процесс, который десятилетиями протекал «без него». Кстати, В. Кожинов верно подмечает одну особенность Тарковского, но толкует ее превратно — как статичность:

«Необходимо обратить внимание на тот факт, что, скажем, стих Заболоцкого и Пастернака пережил в 30—40-х годах громадные коренные изменения (обусловленные в конечном счете развитием самого отечественного бытия и сознания); мы без всякого труда отличим стихотворения этих поэтов, созданные в 1920-х годах и, с другой стороны, в 1950-х годах. Между тем стихи Тарковского любого периода (от 20-х до 70-х годов) более или менее однородны».

Похоже на упрек, на обвинение. Но почему? Фету и Тютчеву можно, а Тарковскому нельзя? Потому ли, что при Тютчеве и Фете в России не было революционных потрясений? Но при Бунине были. И к ломке стиля ведь не привели. В этом смысле «консервативны» были и Ходасевич и Ахматова. А может быть, имелось в виду, что Заболоцкий и Пастернак преодолели свои ранние ошибочные установки, а Тарковский продолжал упорствовать? Недаром же упоминается о развитии «отече-

ственного бытия и сознания» (через соцреализм?). Но ни «Столбцы» Заболоцкого, ни книгу «Сестра моя — жизнь» Пастернака к творческим заблуждениям никак не отнесешь. А Тарковский с самого начала не отталкивался от традиции. Чем и отличался от Заболоцкого и Пастернака. К тому же Тарковский в молодых поэтах и не ходил. Когда лет в двадцать он почувствовал себя поэтом, уже он был не ко времени. В литературе утверждались сталинские идеологические стереотипы, требовалось обслуживать злобу дня — для тиражирования самым желанным был, пожалуй, Демьян Бедный, провозгласивший в начале 30-х годов:

Так жаждешь в винтик претвориться,
Ремнем по валикам ходить,
В рабочей массе раствориться...

Тарковский не был и не мог быть «винтиком». Зато глубоко понимал диалектику преемственности в поэзии, в традиции видел залог слияния прежнего и нынешнего, вечного и современного, его не интересовали формальные споры о новаторстве, когда элементы поэтики рассматриваются порознь. Целостность при этом ускользает, ибо живое не имеет частей. Иначе легко попасться на крючок поверхностных наблюдений. Возьмем, например, такие строки Тарковского:

Я прощаюсь со всем, чем когда-то я был
И что я презирал, ненавидел, любил.
...Потому что сосудом скудельным я был
И не знаю, зачем сам себя я разбил.

(«Я прощаюсь...»)

Куда уж традиционнее! Верно, так писали и в начале прошлого века, когда не стеснялись отглагольных рифм... А вот строки из его же стихотворения «Охота»:

Охота кончается.
Меня затравили.
Борзая висит у меня на бедре.
Закинул я голову так,
что рога уперлись в лопатки.

Трублю.
Подрезают мне сухожилья.
В ухо тычут ружейным стволом...

Теперь зачислять, что ли, Тарковского в верлибристы, чуть ли не модернисты? Но в контексте всего творчества это мнимое формальное противоречие даже не возникает.

Творчество, как город, растет в целом, хотя каждое здание строится отдельно. А целое уравнивает преемственность с современностью. Можно сказать, что Маяковский стремился возвести новый город на новом месте, призывая даже перенести туда «столицу» поэзии. Тарковский же работал в унаследованной от предков «столице», гармонично вписывая в ее орбиту свой город-спутник. Тарковский почти незаметно поднимался к вершинам поэтического мастерства, совершал свое восхождение без резких поворотов, отвлечений и увлечений. Может быть, это объясняется тем, что к концу 20-х годов, когда закладывались творческие убеждения молодого Тарковского, уже выдыхались всевозможные поэтические школы, модные завихрения вроде люминизма, форм-либризма, фунизма или ничевоков. С другой стороны — набирали силу примитивные пролеткультовские установки, сводящие поэзию к обслуживанию «классовых интересов». Неудивительно, что Тарковский нашел и эстетическую и нравственную опору в русской классике. Да, ямб и хорей, строгая строфика и точная рифма (Тарковский чрезвычайно взыскательно и щепетильно относился к рифме). Поэт, как зодчий, должен чувствовать соразмерность стиха, располагая смысл по всей его поверхности. Выпячивание одного из элементов формы делает стих кособоким...

Я не хочу сказать, что Тарковский был одиноким «хранителем огня», верным истинному призванию поэзии. Близкие ему по духу поэты жили и рядом, в Москве и Ленинграде, и далеко — в русском зарубежье. Но они были изданы или издавались. Тарковский же остался на долгие десятилетия вне литературного процесса, хотя писать продолжал. Творчество неостановимо. Писал как бы для себя, стараясь не реагировать на теоретические и политические сражения в литературе, охраняя свою «са-

мость» от всего чуждого, преходящего. Он верил Пушкину, пусть его слова и казались в ту пору неуместными: «чувства добрые», «милость к падшим»... Иное ведь гремело на «поверхности» времени: «стих — это бомба и знамя», «к штыку приравняли перо», «наши перья — штык да зубья вил» и даже — «хочу, чтоб в дебатах потел Госплан, мне давая задания на год»...

Маяковский по собственной воле посвятил себя Революции, но вскоре его не стало, как не стало и самой Революции: Сталин наступил ей «на горло», строя державу. Тарковский, будучи на поколение моложе, иначе вступал в мир. Его таланту пришлось прибегнуть к самозащите. Не отсюда ли и самосохранение стиля? Нельзя сказать, что поэт гордился своим неучастием, полупротестом против конъюнктуры. Скорей он испытывал и горечь, и чувство вины. И все-таки правоты.

И еще я скажу: собеседник мой прав,
В четверть шума я слышал, в полсвета я видел,
Но зато не унизил ни близких, ни трав,
Равнодушием отчей земли не обидел.

(«Я учился траве...»)

«Незлободневность» Тарковского отразилась и в том, что его стихи, за редким исключением, как бы не зависят от даты написания. Как не нуждались в датах Тютчев и Фет, чье творчество тоже не оглядывалось на часы или на календарь.

Нет смысла взвешивать — лучше ли, хуже. Что хорошо для Некрасова, то не годится для Фета. И наоборот. Кстати, Некрасов — один из любимых у Тарковского. Поэтами его детства были Лермонтов и Некрасов, потом «пришли» Пушкин, Баратынский, Тютчев, Фет и поэты XX века...

Позволю себе сослаться на одну из моих бесед с Арсением Александровичем, которая прямо касалась его творчества (Вопросы литературы, 1979, № 6). Поэт говорил о том, что поэзию, как и другие искусства, он понимает как часть бытия, как вторую реальность, параллельную бытию, что для серьезной поэзии необходима гармония уравновешенности мира — лич-

ности художника и языка: «Поэт — это тот, кто говорит от той группы не пишущих стихов людей, чьими «уста́ми» он служит. Как Маяковский писал: «улица корчится безъязыкая — ей нечем кричать и разговаривать». Если не признать роли поэта как участника жизнетворения, то нельзя понять сущности поэзии».

Тарковский неоднократно подчеркивал, что поэзия есть искусство чувства, поверенного разумом, искусство мысли, поверенной чувством:

Я любил свой мучительный труд, эту кладку
Слов, скрепленных их собственным светом, загадку
Смутных чувств и простую разгадку ума...

Если на весах «разум-чувство» одно плечо перевешивает другое — дисгармония пересиливает в стихотворении все, что в него вложено, — говорил поэт. И не соглашался с теми — особенно западными — поэтами, которые отстаивали свое право на эту самую дисгармоничность: дескать, мир раздираем противоречиями, он весь перекошен, абсурден, а сегодняшний поэт — дитя сегодняшнего мира...

Вот тут-то и должен поэт оказать сопротивление. Мало ведь просто «отражать». Поэт, по убеждению Тарковского, живет «ради чего-то». А для того, чтобы просто выразить хаос, стоит ли жить?

Наш век действительно требует от поэта больших усилий миропознания, чем прежде. Никогда человечество в целом не достигало такой критической точки, как теперь. Что может поэт? Пусть он может не много, — в наши дни к таланту художника, к чуткости его сердца требуется прибавить еще проникновение в глубины истории, науки, философии. Тарковскому было дано органично сочетать в своем творчестве универсальное сознание: первоначально поэтическое и научно-космическое (последнее, безусловно, связано с своеобразным хобби поэта — он всю жизнь увлекался астрономией, нацеливал в небо маленький домашний телескоп).

Я человек, я посредине мира,
За мною мириады инфузорий,
Передо мною мириады звезд.
Я между ними лег во весь свой рост —
Два берега связующее море,
Два космоса соединивший мост.

Точность метафоры вполне научная, хоть цитируй в учебниках. Но поэт потому и поэт, что этим не ограничивается — следует прорыв в иное измерение, подвластное только художнику:

Я больше мертвецов о смерти знаю,
Я из живого самое живое.
И — боже мой! — какой-то мотылек,
Как девочка, смеется надо мною,
Как золотого шелка лоскуток...

(«Посредине мира»)

Какой мудрец переспорит этого мотылька? И что стоит любая формула без этого мотылька?

В глубокой и значительной статье «Арсений Тарковский: путь и мир» (1982) Сергей Чупринин писал:

«Отношения, складывающиеся между поэтом и миром в лирике Арсения Тарковского, справедливо было бы — помня всю условность метафоры — назвать «средневековыми». Таковы отношения сюзерена и вассала, владыки и прихожанина, Прекрасной Дамы рыцарских легенд и странствующего менестреля. Ни о какой взаимности, ни о каком равноправии и речи быть не может: слишком велика иерархическая дистанция, разделяющая мир и человека, слишком несоизмеримы их уделы».

Думаю, что вышеприведенные строки Тарковского («Я человек, я посредине мира...») говорят не о «дистанции», а о таинственной связи, вовсе не чуждой мироощущению средневековья, ищущего мифологическую, религиозную или мистическую «модель» единства человека и Вселенной. По Тарковскому, человек центроположен, он «центральная фигура пространства и времени», вот почему поэт считает «несправедливым взгляд на человека как на ничтожную песчинку в мироздании».

Время, выпавшее на долю Тарковского, одно из самых сложных и спорных. На его глазах не раз сменялась поэтическая «иерархия», вспыхивали и гасли истинные и дутые литературные репутации. Со временем многое поблекло в книгах Асеева, Кирсанова, Суркова, Смелякова, Щипачева, Сельвинского, не говоря уже о сотнях заслуженно забытых стихотворцев. А «настал черед» (по словам Цветаевой) тех, в чьем творчестве не прерывалась связь времен, для тех, кто в разноголосице сегодняшнего слышал и горный глас, кто страхами и соблазнами внешнего мира не заглушил в себе пророческого дара, совестной исповеди.

Власть от века есть у слова,
И уж если ты поэт
И когда пути другого
У тебя на свете нет,

Не описывай заране
Ни сражений, ни любви,
Опасайся предсказаний,
Смерти лучше не зови:

Слово только оболочка,
Пленка жребиев людских,
На тебя любая строчка
Точит нож в стихах твоих.

(«Слово»)

Тут не только предостережение и ответственность, тут и мольба — «да минует меня чаша сия», хотя поэт знает, что не «минует», что слово сильнее его самого (недаром Леонид Мартынов воскликнул: «...сам у себя в ногах валяюсь, чтоб не сбылось предсказанное мной!»). «Я — Божья дудка», — сказал однажды Есенин, как бы прося не судить его за все горькое и трагическое, памятуя о высшей воле Добра.

«Поэзия порой не только предвосхищает судьбу, — говорит Тарковский, — но и воздействует на нее... Сила поэтического слова содержалась уже в народных заговорах, нашептываниях. В поэзии присутствует нечто магическое — не на шарлатан-

ском, а на самом высоком уровне, когда создается мощная поэтическая реальность, как великий эпос...»

Его поэзия именно такова: строга, высока и серьезна. Он настаивал: нельзя о серьезных предметах говорить с ухмылкой: «У наших великих лириков — Баратынского, Тютчева, Фета — веселая вольность не проникает в замкнутую сферу серьезной поэзии», это тоже в традиции русской литературы, ее «неулыбчивого правдоискательства, смятения духа, чувства вины наследственной культуры перед народом. Поэты шутили, посмеивались, но их иронические произведения никогда не «наплывали» на серьезное, не смешивались с ним». Действительно, у Тарковского ироническая поэма «Чудо со щеглом» существует как бы поодаль от основного корпуса его стихотворений.

Одна из самобытных форм лирики Тарковского — поэтический портрет. Стихи о Ван Гоге, Пауле Клее, Анджело Секки, Манделштаме, об юродивом — все это образцы проникновения эпических мотивов в лирику. Замысел реализуется на ассоциациях подобия и различия (в зависимости от отношения автора к тому или иному герою стихотворения). Элемент прозы в этом жанре преодолевается энергией выразительности, откровенной субъективностью: сердечным восторгом — когда речь идет о Ван Гоге, либо сарказмом — когда речь идет о кулинарной «богине» Елене Молоховец.

Тарковский рассказывал, что первые опыты стихотворного портрета он сделал на фронте, стремясь (для армейской газеты) оперативно откликнуться на конкретный пример воинской доблести, запечатлеть живую личность, сохранить черты погибшего в бою солдата, офицера.

Умение вжиться в иной образ связано, думаю, и с талантом перевоплощения в образ других поэтов — непереносимое условие состоятельности художественного перевода. Тарковский порой выбирал для переложения на русский язык поэтов далеких культур, отдаленных эпох. Выбирал как будто непохожее на себя, а в результате находил родное. Так было с Махтумкули, великим туркменским поэтом XVIII века. Немало душевных

совпадений обнаружилось и с арабским поэтом XI века Абу-ль-Аля аль-Маарри. Переключка внутреннего родства не могла не возникнуть там, где осуществлялось единое и вечное гуманистическое призвание поэзии (все настоящие большие поэты — родственники по духу, будь то грек Гомер, римлянин Овидий, немец Гете или русский Пушкин).

Эстафета культуры — что может быть естественней? Однако приходилось слышать, что Тарковский — поэт книжный, слишком, так сказать, культурный. Избыток культуры, дескать, скывывает непосредственное новое слово. Что ж, бывает пора бунта против изысканности и изошренности искусства, возникает реакция — диковатая, в чем-то варварская, антикультурная, вроде футуризма, которая рождает таких подлинных новаторов, как Хлебников и Маяковский...

Это так и не так, потому что нет в искусстве единого закона для всех. Каждый в творчестве отстаивает свою правду. Тарковский был свидетелем смены множества «измов» в поэзии, но всегда оставался верным своим ориентирам, своему компасу: «Если нарушается цельность духовного развития, то, вероятно, в этом есть нечто болезненное... Хлебников не напрасно назван «честнейшим рыцарем поэзии», однако многое у него просто рассыпалось... Обратный пример, пример душевного здоровья — Пушкин. Он же свидетельство причастности поэта мировой культуре, духовной трезвости, воспитанной мировой культурой, и непосредственности, жизненности поэзии, надежденной изумительной свежестью восприятия и идеальной самоотдачей выражения чувства и разума...»

Самостоятельному таланту культура не грозит вторичностью, как не грозит вторичностью и обращение поэзии к самой себе, что характерно для Тарковского. У него нет никаких сомнений в правомерности и плодотворности такого обращения: «Разве кто-нибудь запрещает врачам размышлять о медицине, о биологии, музыкантам — о музыке?.. Потом, в стихах о стихах часто речь идет и о других предметах, вызывающих стихи к жизни, о психологии творчества... Для Пушкина эта тема была так же важна, как тема любви, бытия, смерти».

Поэзия для Тарковского немислима без гармонии. Ее глубинное освоение обусловлено и его неизбывной любовью к музыке. Он называл музыку самым загадочным из искусств и наиболее «математическим» при этом. Непосредственность музыки включает в себя композиторский расчет. Как и в балете:

И пробует волю твою на зубок
Холодный расчет балерины.

(«Балет»)

Музыкальность стиха достигается не усилением внешней звучности, красоты, а устремлением к сущностной «гармонии сфер», в которую вслушивался Коперник.

Истинный поэт всегда и родной и чужой своему времени. Потому что он принадлежит не только ему. Не отсюда ли возникает порой некое экзотическое самоощущение, вроде «африканства» у Пушкина, «шотландства» у Лермонтова? Не отсюда ли и странный «автопортрет» раннего Маяковского — «Вот иду я, заморский страус» из стихотворения «России»:

Пусть исчезну,
чужой и заморский,
под неистовства всех декаблей.

Острое чувство своей необычности и не менее острое желание быть принятым и понятым. Это чувство не было мимолетным. Лет через десять он напишет: «Я хочу быть понят родной страной, а не буду понят — что ж, по родной стране пройду стороной, как проходит косой дождь». Страус есть и у Тарковского:

Показывали страуса в Пассаже...

Но здесь другое. Ни вызова, ни боли. Одно лишь отчужденное терпение. В отличие от Маяковского, который оказался сразу на виду у времени, Тарковский долго пребывал в тени. И с тогдашней точки зрения это было вполне логично. Между ним, художником (каким он уродился), и современно-

стью (как ее понимали) вставала незримая стена. Страус «научился небытию», «и если б даже захотел, не мог из этого оцепененья выйти». Но и у Тарковского эта тема имеет продолжение. Через некоторое время в его поэзии появляется «Кактус» — «терпеливый приемыш чужбины»:

Жажда жизни кору пробивала, —
Он живет во всю ширь своих плеч
Той же силой, что нам даровала
И в могилах звучащую речь.

Итак, отчуждение прорвано. Наконец, стихотворение «Верблюды» — главное в нем уже не экзотика, не терпение, а благодарное постижение смысла в существовании на этой земле:

Привыкла верблюжья душа
К пустыне, тюкам и побоям.
А все-таки жизнь хороша,
И мы в ней чего-нибудь стоим.

Постоянство мотивов, тем, стилевых пристрастий у Тарковского совсем не исключает движения, разрастания корневой системы и кроны. Каким упорством и внутренней силой надо было обладать, чтобы неуклонно вести свою «линию», когда, казалось, она совершенно бесперспективна, — все места, все ниши в современной поэзии заняты, распределены сверху по другим критериям. Но Тарковский знал, что он — поэт. Без такой уверенности, такого «самозванства» нет и не может быть творчества. Будущий поэт вдруг в какой-то счастливый миг своей молодости осознает себя законным наследником отечественной культуры, принимает как должное ее эстафету. Никто не назначает художнику меру его долга, никто не может освободить от него. О рождении царевича трезвонят по градам и весям, а о появлении поэта никто не оповестит, пока он сам себя не назовет, всей жизнью потом оплачивая свою заявку, свое «самозванство»:

Я сам без роду и без племени
И чудом вырос из-под рук,
Когда меня лопата времени
Швырнула на гончарный круг.

(«К стихам»)

Поэт в безвестности еще «без роду и без племени», но он-то уже не сомневается в том, что унаследовал:

Я ветвь меньшая от ствола России,
Я плоть ее...
Я призван к жизни кровью всех рождений
И всех смертей, я жил во времена,
Когда народа безымянный гений
Немую плоть предметов и явлений
Одушевлял, даруя имена...

(«Словарь»)

Судьба Тарковского заставляет размышлять о перипетиях современной ему поэзии. Не было недостатка в энтузиастах революционной ломки. Но, как правило, именно поэты, мнящие себя передовыми, оказывались нечуткими к противоречиям времени, к его нарастающему трагизму. А те, которые «отстали» от времени, по каким-то парадоксальным законам оказались впереди. Да и вообще — «лицом к лицу лица не увидеть» — духовная дистанция позволяет охватить перспективу. Я уже упоминал о совестной, покаянной ноте у Тарковского: «В четверть шума я слышал, вполсвета я видел». В другом месте этот мотив звучит еще резче: «Я полужил и полу — казалось — жил, и сам себя прошляпил», — однако это не стоит понимать буквально. Время не давало видеть, время оглушало: «Мы живем, под собою не чуя страны, наши речи за десять шагов не слышны», — написал в 1933 году Мандельштам... Трагическая боль времени явственно прорывается в лирике Тарковского, переключаясь с «Реквиемом» Ахматовой. Сошлюсь хотя бы на два его стихотворения:

Земля прозрачнее стекла,
И видно в ней, кого убили
И кто убил: на мертвой пыли
Горит печать добра и зла, —

(«Тот жил и умер...»)

строки, словно продолжающиеся в стихотворении «Зимой»:

...Бредем, теряя кромку круга
И спотыкаясь о гроба.

Не видно месяца над нами,
В сугробах вязнут костыли,
И души белыми глазами
Глядят вослед поверх земли.

А дальше возникает знакомый нам образ: «...проходили мы с тобой под этой каменной стеной... и так же глухо, вполголоса и в четверть слуха, гудело эхо за спиной». Это глухое эхо прямо относится к определенному времени. Как оно по-разному воспринималось! «С каждым днем все радостнее жить» по Лебедеву-Кумачу и «чуя грядущие казни», «с миром державным я был лишь ребячески связан» — по Мандельштаму. Родина всемирной Революции неуклонно превращалась в замкнутую на себя державу, осчастливленную любимейшим из тиранов. В ту пору у Тарковского вырвалось редкое для него стихотворение, полное отращения и гнева:

Это не мы, это они — ассирийцы,
Жезл государственный бравшие крепко в клешни,
Глинобородые боги-народоубийцы,
В твердых одеждах цари, — это они!

И далее:

Я проклиная подошвы царских сандалий...
Я клинописной хвалы не пишу все равно.
Мне на земле ни почета, ни хлеба не надо,
Если мне царские крылья разбить не дано.

(«В музее»)

Вот она — та вспышка некрасовской гражданской боли, которая обожгла Тарковского, как и других поэтов, принципиально «далеких от политики», — Пастернака, Ахматову, Мандельштама.

Есть у Тарковского и стихотворение, на которое лег неожиданный трагический отблеск. Это стихотворение, которое читатель найдет в первом томе, начинается так:

Стол накрыт на шестерых,
Розы да хрусталь,
А среди гостей моих
Горе да печаль.

Молодому Арсению Тарковскому была дарована последняя дружеская привязанность Марины Цветаевой, и вышло так, что ее последний поэтический отклик (в 1941 году, за несколько месяцев до гибели) был как раз на это стихотворение. Ответ Марины Цветаевой был обнаружен и опубликован всего несколько лет назад. Наверное, Тарковский прочитал ей свое стихотворение вслух, потому что Марина Ивановна запомнила первую строку не в хоре, а в ямбе и в таком виде вынесла в эпиграф к своему стихотворению, горькому, исполненному укоризны, пусть субъективной и не вполне справедливой, но разве в этом дело? Душа кровоточила, подступало отчаяние одиночества после ареста мужа и дочери... На этом ответе Арсению Тарковскому оборвалось поэтическое творчество Марины Цветаевой:

Все повторяю первый стих
И все переправляю слово:
«Я стол накрыл на шестерых...»
Ты одного забыл — седьмого.

И с характерной для нее страстностью повторяет: «Как мог ты за таким столом седьмого позабыть — седьмую?», «Как мог ты ошибиться в счете?», «Как мог, как смел ты не понять... есть семеро — раз я на свете?!».

За непоставленный прибор
Сажусь незваная, седьмая.

Раз! — опрокинула стакан!
И все, что жаждало пролиться, —
Вся соль из глаз, вся кровь из ран —
Со скатерти — на половицы.

И в этом же стихотворении — такие раздирающие сердце строки: «Чем пугалом среди живых — быть призраком хочу — с твоими».

Множество живых теней обступало Тарковского на склоне лет. Он был с нами, современниками, и был с ними — с ушедшими навек Пастернаком, Цветаевой, Ахматовой. В его присутствии — еще совсем недавнем! — «был ощутим физически» единый высокий свод русской литературы. Ведь Арсений Тарковский родился при Льве Толстом, а Лев Толстой — при Пушкине. Всего две жизни — от Пушкина до нас...

Думаю, уместно будет сослаться на пушкинский завет, выраженный в стихотворении «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...», к которому вновь и вновь обращаются поэты следующих поколений. Маяковский вел спор-диалог с Пушкиным всю жизнь. Тема памятника себе в «Юбилейном» звучит в сугубо отрицательном смысле: Маяковский взорвал бы его динамитом. Зато во вступлении к поэме «Во весь голос» он, повторив, что ему «наплевать на бронзы многопудье», признает только общий памятник — «построенный в боях социализм», то есть ставит общественный уклад выше всего. Тут принципиальная разница. Более того, он восклицает: «Умри, мой стих, умри, как рядовой...» — горькая антитеза пушкинскому: «Нет, весь я не умру. Душа в заветной лире мой прах переживет...»

Ситуация более чем драматическая. Другого рода драма сказалась в «Памятнике» Ходасевича, оказавшегося в Париже, «по ту сторону баррикад»:

В России новой, но великой
Поставят идол мой двуликий
На перекрестке двух дорог,
Где время, ветер и песок...

Чего тут больше — веры в возвращение к русскому читателю или боли за искалеченную судьбу?

Арсений Тарковский не был ни певцом революции, ни ее изгоем. Он за свою долгую жизнь разделил все беды и радости с родной страной, почти четыре десятилетия не подозревавшей, что он у нее есть — настоящий русский поэт. Теперь он — уже навсегда. Пусть талант от Бога, остальное — от Родины, от родной культуры, от данного нам бытия.

Я жизнь люблю и умереть боюсь.
Взглянули бы, как я под током бьюсь
И гнусь, как язь в руках у рыболова,
Когда я перевоплощаюсь в слово...

(«Малютка-жизнь»)

Как просто и глубоко! И как бесстрашно сказано о боязни — той, что удесятеряет качество жизни, претворяет ее в творчество и свет. Тарковский любил жизнь, болел ею, знал ее прелесть и горечь, любил ее, как ребенок и как мудрец.

Свою судьбу к седлу я приторочил;
Я и сейчас, в грядущих временах,
Как мальчик, привстаю на стременах.

(«Жизнь, жизнь»)

Теперь особым смыслом наполнился его сонет «Стелил я снежную постель...», который тоже можно было бы назвать «Памятником». В нем нет ни классического величия, ни революционной жертвенности, ни мук изгнанника. У Тарковского это дума не о себе, а о России. И только с ней — о себе.

...Я памятник тебе поставил
На самой слезной из земель.

Под небом северным стою
Пред белой, бедной, непокорной
Твоею высотой горной

И сам себя не узнаю,
Один, один в рубахе черной
В твоём грядущем, как в раю.

Кирилл КОВАЛЬДЖИ

СТИХОТВОРЕНИЯ

ГОСТЬЯ—ЗВЕЗДА

1929—1940

ПЕРЕД ЛИСТОПАДОМ

Все разошлись. На прощанье осталась
Оторопь желтой листвы за окном,
Вот и осталась мне самая малость
Шороха осени в доме моем.

Выпало лето холодной иголкой
Из онемелой руки тишины
И запропало в потемках за полкой,
За штукатуркой мышинной стены.

Если считаться начнем, я не вправе
Даже на этот пожар за окном.
Верно, еще рассыпается гравий
Под осторожным ее каблуком.

Там, в законном тревожном покое,
Вне моего бытия и жилья,
В желтом, и синем, и красном — на что ей
Память моя? Что ей память моя?

1929

ПРОХОЖИЙ

Прохожему — какое дело,
Что кто-то вслед за ним идет,
Что мне толкаться надоело,
Стучаться у чужих ворот?

И никого не замечает,
И белый хлеб в руках несет,
С досужим ветерком играет,
Стучится у моих ворот.

Из дома девушка выходит,
Подходит и глядит во тьму,
В лицо ему фонарь наводит,
Не хочет отворить ему.

— Что, — скажет, — бродишь, колобродишь,
Зачем еще приходишь к нам,
Откуда, — скажет, — к нам приходишь
Стучаться по ночам?

1931

КОЛЫБЕЛЬ

Андрею Т.

О н а:

Что всю ночь не спишь, прохожий,
Что бредешь — не добредешь,
Говоришь одно и то же,
Спать ребенку не даешь?
Кто тебя еще услышит?
Что тебе делить со мной?
Он, как белый голубь, дышит
В колыбели лубяной.

О н:

Вечер приходит, поля голубеют, земля сиротеет.
Кто мне поможет воды зачерпнуть из криницы
глубокой?
Нет у меня ничего, я все растерял по дороге;
День провожаю, звезду встречаю. Дай мне напиться.

О н а:

Где криница — там водица,
А криница на пути.
Не могу я дать напиться,

От ребенка отойти.
Вот он веки опускает,
И вечерний млечный хмель
Обвивает, оmyвает
И качает колыбель.

О н:

Дверь отвори мне, выйди, возьми у меня что хочешь —
Свет вечерний, ковш кленовый, траву подорожник...

1933

* * *

Река Сугаклея уходит в камыш,
Бумажный кораблик плывет по реке,
Ребенок стоит на песке золотом,
В руках его яблоко и стрекоза.
Покрытое радужной сеткой крыло
Звенит, и бумажный корабль на волнах
Качается, ветер в песке шелестит,
И все навсегда остается таким...
А где стрекоза? Улетела. А где
Кораблик? Уплыл. Где река? Утекла.

[1933]

ДОМ

Юность я проморгал у судьбы на задворках,
Есть такие дворы в городах —
Подымают бугры в шелушащихся корках,
Дышат охрой и дранку трясут в коробах.

В дом вошел я, как в зеркало, жил наизнанку,
Будто сам городил колченогий забор,
Стол поставил и дверь притворил спозаранку,
Очутился в коробке, открытой во двор.

Погоди, дай мне выбраться только отсюда,
Надоест мне пластаться в окне на весу;
Что мне делать? Глумись надо мною, покуда
Все твои короба растрясу.

Так себя самого я угрозами выдал.
Ничего, мы еще за себя постоим.
Старый дом за спиной набухает, как идол,
Шелудивую глину трясут перед ним.

[1933]

* * *

Зеленые рощи, зеленые рощи,
Вы горькие правнуки древних лесов,
Я — брат ваш, лишенный наследственной мощи,
От вас ухожу, задвигаю засов.

А если я из дому вышел, уж верно
С собою топор прихвачу, потому
Что холодно было мне в яме пещерной
И в городе я холодаю в дому.

Едва проявляется день на востоке,
Одетые в траурный чад площадей,
Напрасно вопят в мегафоны пророки
О рощах-последышах, судьях людей.

И смутно и боязно в роще буззвучной
Творить ненавистное дело свое:
Деревья — под корень, и ветви — поштучно...
Мне каждая ветка — что в горло копье.

<конец 1970-х>

* * *

Под сердцем травы тяжелеют росинки,
Ребенок идет босиком по тропинке,
Несет землянику в открытой корзинке,
А я на него из окошка смотрю,
Как будто в корзинке несет он зарю.

Когда бы ко мне побежала тропинка,
Когда бы в руке закачалась корзинка,
Не стал бы глядеть я на дом под горой,
Не стал бы завидовать доле другой,
Не стал бы совсем возвращаться домой.

[1933]

* * *

Если б, как прежде, я был горделив,
Я бы оставил тебя навсегда;
Все, с чем расстаться нельзя ни за что,
Все, с чем возиться не стоит труда, —
Надвое царство мое разделив.

Я бы сказал:

— Ты уносишь с собой
Сто обещаний, сто праздников, сто
Слов. Это можешь с собой унести.

Мне остается холодный рассвет,
Сто запоздалых трамваев и сто
Капель дождя на трамвайном пути,
Сто переулков, сто улиц и сто
Капель дождя, побежавших вослед.

[1934]

НОЧНОЙ ДОЖДЬ

То были капли дождевые,
Летающие из света в тень.
По воле случая впервые
Мы встретились в ненастный день,

И только радуги в тумане
Вокруг неярких фонарей
Поведали тебе заране
О близости любви моей,

О том, что лето миновало,
Что жизнь тревожна и светла,
И как ты ни жила, но мало,
Так мало на земле жила.

Как слезы, капли дождевые
Светились на лице твоём,
А я еще не знал, какие
Безумства мы переживем.

Я голос твой далекий слышу,
Друг другу нам нельзя помочь,
И дождь всю ночь стучит о крышу,
Как и тогда стучал всю ночь.

1943



Записал я длинный адрес на бумажном лоскутке,
Все никак не мог проститься и листок держал в руке.

Свет растекся по брусчатке. На ресницы, и на мех,
И на серые перчатки начал падать мокрый снег.

Шел фонарщик, обернулся, возле нас фонарь зажег,
Засвистел фонарь, запнулся, как пастушеский рожок.

И рассыпался неловкий, бестолковый разговор,
Легче пуха, мельче дробы... Десять лет прошло
с тех пор.

Даже адрес потерял я, даже имя позабыл
И потом любил другую, ту, что горше всех любил.

А идешь — и капнет с крыши: дом и ниша у ворот,
Белый шар над круглой нишей, и читаешь: кто живет?

Есть особые ворота и особые дома,
Есть особая примета, точно молодость сама.

1935

* * *

Т. О.-Т.

Я боюсь, что слишком поздно
Стало сниться счастье мне.
Я боюсь, что слишком поздно
Потянулся я к беззвездной
И чужой твоей стране.

Мне-то ведомо, какую —
Ночью темной, без огня,
Мне-то ведомо, какую
Неспокойной, молодую
Ты бываешь без меня.

Я-то знаю, как другие,
В поздний час моей тоски,
Я-то знаю, как другие
Смотрят в эти роковые,
Слишком темные зрачки.

И в моей ночи ревнивой
Каблучки твои стучат,
И в моей ночи ревнивой
Над тобою дышит диво —
Первых оттепелей чад.

Был и я когда-то молод.
Ты пришла из тех ночей.
Был и я когда-то молод,
Мне понятен душный холод,
Вешний лед в крови твоей.

1947

СТРАУС В 1913 ГОДУ

Показывали страуса в Пассаже.

Холодная коробка магазина,
И серый свет из-под стеклянной крыши,
Да эта керосинка на прилавке —
Он ко всему давным-давно привык.
Нахохлившись, на сонные глаза
Надвинул фиолетовые веки
И посреди пустого помещенья,
Не двигаясь, как чучело, стоял,
Так утвердив негнущиеся ноги,
Чтоб можно было, не меняя позы,
Стоять хоть целый час, хоть целый день
Без всякой мысли, без воспоминаний.

И научился он небытию
И ни на что не обращал вниманья —
Толкнет его хозяин или нет,
Засыплет корму или не засыплет,
И если б даже захотел, не мог
Из этого оцепененья выйти.

[1945]

ГРАД НА ПЕРВОЙ МЕЩАНСКОЙ

Бьют часы на башне,
Подымается ветер,
Прохожие — в парадные,
Хлопают двери,
По тротуару бегут босоножки,
Дождь за ними гонится,
Бьется сердце,
Мешает платью,
И розы намокли.

Град
 расшибается вдребезги
 над самой липой.

Все же
Понемногу отворяются окна,
В серебряной чешуе мостовые,
Дети грызут ледяные орехи.

1935

25 ИЮНЯ 1935 ГОДА

Хорош ли праздник мой, малиновый иль серый,
Но все мне кажется, что розы на окне,
И не признательность, а чувство полной меры
Бывает в этот день всегда присуще мне.
А если я не прав, тогда скажи — на что же
Мне тишина травы, и дружба рощ моих,
И стрелы птичьих крыл, и плеск ручьев, похожий
На объяснение в любви глухонемых?

1938

* * *

Отнятая у меня, ночами
Плакавшая обо мне, в нестрогом
Черном платье, с детскими плечами,
Лучший дар, не возвращенный богом,

Заклинаю прошлым, настоящим,
Крепче спи, не всхлипывай спросонок,
Не следи за мной зрачком косящим,
Ангел, олененок, соколенок.

Из камней Шумера, из пустыни
Аравийской, из какого круга
Памяти — в сиянии гордыни
Горло мне захлестываешь туго?

Я не знаю, где твоя держава,
И не знаю, как сложить заклятье,
Чтобы снова потерять мне право
На твое дыханье, руки, платье.

[1963—1966]

ИГНАТЬЕВСКИЙ ЛЕС

Последних листьев жар сплошным самосожжением
Восходит на небо, и на пути твоём
Весь этот лес живет таким же раздраженьем,
Каким последний год и мы с тобой живем.

В заплаканных глазах отражена дорога,
Как в пойме сумрачной кусты отражены.
Не привередничай, не угрожай, не трогай,
Не задевай лесной наволгшей тишины.

Ты можешь услышать дыханье старой жизни:
Осклизлые грибы в сырой траве растут,
До самых сердцевин их проточили слизи,
А кожу все-таки щекочет влажный зуд.

Все наше прошлое похоже на угрозу —
Смотри, сейчас вернусь, гляди, убью сейчас!
А небо ежится и держит клен, как розу, —
Пусть жжет еще сильнее! — почти у самых глаз.

1935

* * *

Когда купальщица с тяжелою косою
Выходит из воды, одна в полдневном зное,
И прячется в тени, тогда ручей лесной
В зеленых зеркальцах поет совсем иное.

Над хрупкой чешуей светло-студеных вод
Сторукий бог ручьев свои рога склоняет,
И только стрекоза, как первый самолет,
О новых временах напоминает.

1946

МЕЛЬНИЦА В ДАРГАВСКОМ УЩЕЛЬЕ

Все жужжит беспокойное веретено —
То ли осы снуют, то ли гнется камыш, —
Осетинская мельница мелет зерно,
Ты в Даргавском ущелье стоишь.

Там в плетеной корзине скрипят жернова,
Колесо без оглядки бежит как пришлось,
И, в толченый хрусталь окунув рукава,
Белый лебедь бросается вкось.

Мне бы мельника встретить: он жил над рекой,
Ни о чем не тужил и ходил по дворам,
Он ходил — торговал нехорошей мукой,
Горьковатой, с песком пополам.

1935

* * *

Я так давно родился,
Что слышу иногда,
Как надо мной проходит
Студеная вода.
А я лежу на дне речном,
И если песню петь —
С травы начнем, песку зачерпнем
И губ не разомкнем.

Я так давно родился,
Что говорить не могу,
И город мне приснился
На каменном берегу.
А я лежу на дне речном
И вижу из воды
Далекий свет, высокий дом,
Зеленый луч звезды.

Я так давно родился,
Что если ты придешь
И руку положишь мне на глаза,
То это будет ложь,

А я тебя удержать не могу,
И если ты уйдешь
И я за тобой не пойду, как слепой,
То это будет ложь.

1938

ДОЖДЬ

Как я хочу вдохнуть в стихотворенье
Весь это мир, меняющий обличье:
Травы неуловимое движенье,

Мгновенное и смутное величье
Деревьев, раздраженный и крылатый
Сухой песок, щебечущий по-птичьи, —

Весь этот мир, прекрасный и горбатый,
Как дерево на берегу Ингула.
Там я услышал первые раскаты

Грозы. Она в бараний рог согнула
Упрямый ствол, и я увидел крону —
Зеленый слепок грозового гула.

А дождь бежал по глиняному склону,
Гонимый стрелами, ветвисторогий,
Уже во всем подобный Актеону.

У ног моих он пал на полдороге.

[1938]

25 ИЮНЯ 1939 ГОДА

И страшно умереть, и жаль оставить
Всю шушеру пленительную эту,
Всю чепуху, столь милую поэту,
Которую не удалось прославить.
Я так любил домой прийти к рассвету
И в полчаса все вещи переставить,
Еще любил я белый подоконник,
Цветок и воду, и стакан граненый,
И небосвод голубизны зеленой,
И то, что я — поэт и беззаконник.
А если был июнь и день рожденья,
Боготворил я праздник суетливый,
Стихи друзей и женщин поздравленья,
Хрустальный смех и звон стекла счастливым,
И завиток волос неповторимый,
И этот поцелуй неотвратимый.

Расставлено все в доме по-другому,
Июнь пришел, я не томлюсь по дому,
В котором жизнь меня терпенью учит,
И кровь моя мутится в день рожденья,
И тайная меня тревога мучит, —
Что сделал я с высокою судьбою,
О боже мой, что сделал я с собою!

[1939]

ДОЖДЬ В ТБИЛИСИ

Мне твой город нерусский
Все еще незнаком, —
Клен под мелким дождем,
Переулок твой узкий,

Под холодным дождем
Слишком яркие фары,
Бесприютные пары
В переулке твоём,

По крутым тротуарам
Бесконечный подъем.
Затерялся твой дом
В этом городе старом.

Бесконечный подъем,
Бесконечные спуски,
Разговор не по-русски
У меня за плечом.

Сеет дождь из тумана,
Капли падают с крыш.
Ты, наверное, спишь,
В белом спишь, Кетевана?

В переулке твоём
В этот час непогожий
Я — случайный прохожий
Под холодным дождем,

В этот час непогожий,
В час, покорный судьбе,
На тоску по тебе
Чем-то странно похожий.

[1945]

* * *

Ты, что бабочкой черной и белой,
Не по-нашему дико и смело
И в мое залетела жильё,
Не колдуй надо мною, не делай
Горше горького сердце мое.

Чернота, окрыленная светом,
Та же черная верность обетам
И платок, ниспадающий с плеч.
А еще в трепетании этом
Тот же яд и нерусская речь.

[1946]

* * *

С утра я тебя дожидался вчера,
Они догадались, что ты не придешь,
Ты помнишь, какая погода была?
Как в праздник! И я выходил без пальто.

Сегодня пришла, и устроили нам
Какой-то особенно пасмурный день,
И дождь, и особенно поздний час,
И капли бегут по холодным ветвям.

Ни словом унять, ни платком утереть...

1941

ЯЛИК

Что ты бредишь, глазной хрусталик?
Хоть бы сам себя поберег.
Не качается лодочка-ялик,
Не взлетает птица-нырок.

Камыши полосы прибрежной
Достаются на краткий срок.
Что ты бродишь, неосторожный,
Вдалеке от больших дорог?

Все, что свято, все, что крылато,
Все, что пело мне: «Добрый путь!» —
Меркнет в желтом огне заката.
Как ты смел туда заглянуть?

Там ребенок пел загорелый,
Не хотел возвращаться домой,
И качался ялик твой белый
С голубым флажком над кормой.

1940

ЗВЕЗДНЫЙ КАТАЛОГ

До сих пор мне было невдомек —
Для чего мне звездный каталог?
В каталоге десять миллионов
Номеров небесных телефонов,
Десять миллионов номеров
Телефонов марев и миров,
Полный свод свеченья и мерцанья,
Список абонентов мироздания.
Я-то знаю, как зовут звезду,
Я и телефон ее найду,
Пережду я очередь земную,
Поверну я азбуку стальную:

— А-13-40-25.

Я не знаю, где тебя искать.

Запоеет мембрана телефона:
— Отвечает альфа Ориона.
Я в дороге, я теперь звезда,
Я тебя забыла навсегда.
Я звезда — денницына сестрица,
Я тебе не захочу присниться,
До тебя мне дела больше нет.
Позвони мне через триста лет.

1940—1945

ЦЕЙСКИЙ ЛЕДНИК

Друг, за чашу благодарствуй,
Небо я держу в руке,
Горный воздух государства
Пью на Цейском леднике.

Здесь хранит сама природа
Явный след былых времен —
Девятнадцатого года
Очистительный озон.

А внизу из труб Садона
Сизый тянется дымок,
Чтоб меня во время оно
Этот холод не увлек.

Там над крышами, как сетка,
Дождик дышит и дрожит,
И по нитке вагонетка
Черной бусиной бежит.

Я присутствую при встрече
Двух времен и двух высот,
И колючий снег на плечи
Старый Цее мне кладет.

[1936—1940]

СВЕРЧОК

Если правду сказать,
я по крови — домашний сверчок,
Заповедную песню
пою над печною золой,
И один для меня
приготовит крутой кипяток,
А другой для меня
приготовит шесток золотой.

Путешественник вспомнит
мой голос в далеком краю,
Даже если меня
променяет на знойных цикад.
Сам не знаю, кто выстругал
бедную скрипку мою,
Знаю только, что песнями
я, как цикада, богат.

Сколько русских согласных
в полночном моем языке,
Сколько я поговорок
сложил в коробок лубяной,
Чтобы шарили дети
в моем лубяном коробке,
В старой скрипке запечной
с единственной медной струной.

ПЕРЕД СНЕГОМ

1941-1962

I

ТОЛЬКО ГРЯДУЩЕЕ

Рассчитанный на одного, как номер
Гостиницы — с одним окном, с одной
Кроватью и одним столом, я жил
На белом свете, и моя душа
Привыкла к телу моему. Бывало,
В окно посмотрит, полежит в постели,
К столу присядет — и скрипит пером,
Творя свою нехитрую работу.

А за окном ходили горожане,
Грузовики трубили, дождь шумел,
Посвистывали милиционеры,
Всходило солнце — наступало утро,
Всходили звезды — наступала ночь,
И небо то светлело, то темнело.

И город полюбил я, как приезжий,
И полон был счастливых впечатлений,
Я новое любил за новизну,
А повседневное — за повседневность,
И так как этот мир четырехмерен,
Мне будущее приходилось впору.

Но кончилось мое уединенье,
В пятнадцатирублевый номер мой
Еще один вселился постоялец,
И новая душа плодиться стала,
Как хромосома на стекле предметном.
Я собственной томился теснотой,
Хотя и раздвигался, будто город,
И слободами громоздился.

Я

Мост перекинул через речку.

Мне

Рабочих не хватало. Мы пылили
Цементом, грохотали кирпичом
И кожу бугорчатую земли
Бульдозерами до костей сдирали.

Хвала тому, кто потерял себя!
Хвала тебе, мой быт, лишенный быта!
Хвала тебе, благословенный тензор,
Хвала тебе, иных времен язык!
Сто лет пройдет — нам не понять его,
Я перед ним из «Слова о полку»,
Лежу себе, побитый татарвой:
Нас тысяча на берегу Каялы,
Копье торчит в траве,

а на копье

Степной орел седые перья чистит.

1960

РУКИ

Взглянул я на руки свои
Внимательно, как на чужие:
Какие они корневые —
Из крепкой рабочей семьи.

Надежная старая стать
Для дружеских твердых пожатий;
Им плуга бы две рукояти,
Буханку бы хлебную дать,

Держать бы им сердце земли,
Да все мы, видать, звездолюбцы, —
И в небо мои пятизубцы
Двумя якорями вросли.

Так вот чем наш подвиг велик:
Один и другой пятерик
Свой труд принимают за благо,
И древней атлантовой тягой
К ступням прикипел материк.

1960

К СТИХАМ

Стихи мои, птенцы, наследники,
Душеприказчики, истцы,
Молчальники и собеседники,
Смиренники и гордецы!

Я сам без роду и без племени
И чудом вырос из-под рук,
Едва меня лопата времени
Швырнула на гончарный круг.

Мне вытянули горло длинное,
И выкруглили душу мне,
И обозначили былинные
Цветы и листья на спине,

И я раздвинул жар березовый,
Как заповедал Даниил,
Благословил закал свой розовый,
И как пророк заговорил.

Скупой, охряной, неприкаянной
Я долго был землей, а вы
Упали мне на грудь нечаянно
Из клювов птиц, из глаз травы.

1960

* * *

Я учился траве, раскрывая тетрадь,
И трава начинала как флейта звучать.
Я ловил соответствия звука и цвета,
И когда запевала свой гимн стрекоза,
Меж зеленых ладов проходя, как комета,
Я-то знал, что любая росинка — слеза.
Знал, что в каждой фасетке огромного ока,
В каждой радуге яркострекочущих крыл
Обитает горящее слово пророка,
И Адамову тайну я чудом открыл.

Я любил свой мучительный труд, эту кладку
Слов, скрепленных их собственным светом,
загадку
Смутных чувств и простую разгадку ума,
В слове *правда* мне виделась правда сама,
Был язык мой правдив, как спектральный
анализ,
А слова у меня под ногами валялись.

И еще я скажу: собеседник мой прав,
В четверть шума я слышал, вполсвета я видел,

Но зато не унижил ни близких, ни трав,
Равнодушием отчей земли не обидел,
И пока на земле я работал, приняв
Дар студеной воды и пахучего хлеба,
Надо мною стояло бездонное небо,
Звезды падали мне на рукав.

1956

СТЕПЬ

Земля сама себя глотает
И, тычась в небо головой,
Провалы памяти латает
То человеком, то травой.

Трава — под конскою подковой,
Душа — в коробке костяной,
И только слово, только слово
В степи маячит под луной.

Почует степь, как неживая,
И на курганах валуны
Лежат — цари сторожевые,
Опившись оловом луны.

Последним умирает слово.
Но небо движется, пока
Сверло воды проходит снова
Сквозь жесткий щит материка.

Дохнет репейника ресница,
Сверкнет кузнечика седло,
Как радугу, степная птица
Расчешет сонное крыло.

И в сизом молоке по плечи
Из рая выйдет в степь Адам
И дар прямой разумной речи
Вернет и птицам и камням,

Любовный бред самосознания
Вдохнет, как душу, в корни трав,
Трепещущие их названья
Еще во сне пересоздав.

1961

СТАНЬ САМИМ СОБОЙ

Werde der du bist...

Гете

Когда тебе придется туго,
Найдешь и сто рублей и друга.
Себя найти куда трудней,
Чем друга или сто рублей.

Ты вывернешься наизнанку,
Себя обшаришь спозаранку,
В одно смешаешь явь и сны,
Увидишь мир со стороны

И все и всех найдешь в порядке.
А ты — как ряженный на святки —
Играешь в прятки сам с собой,
С твоим искусством и судьбой.

В чужом костюме ходит Гамлет
И кое-что про что-то мямлит, —
Он хочет Моиси играть,
А не врагов отца карать.

Из миллиона вероятий
Тебе одно придется кстати,
Но не дается, как назло,
Твое заветное число.

Загородил полнеба гений,
Не по тебе его ступени,
Но даже под его стопой
Ты должен стать самим собой.

Найдешь и у пророка слово,
Но слово лучше у немого,
И ярче краска у слепца,
Когда отыскан угол зренья
И ты при вспышке озаренья
Собой угадан до конца.

1957

СЛОВО

Слово только оболочка,
Пленка, звук пустой, но в нем
Бьется розовая точка,
Станным светится огнем,

Бьется жилка, вьется живчик,
А тебе и дела нет,
Что в сорочке твой счастливчик
Появляется на свет.

Власть от века есть у слова,
И уж если ты поэт
И когда пути другого
У тебя на свете нет,

Не описывай заране
Ни сражений, ни любви,
Опасайся предсказаний,
Смерти лучше не зови!

Слово только оболочка,
Пленка жребиев людских,
На тебя любая строчка
Точит нож в стихах твоих.

1945

* * *

Я прощаюсь со всем, чем когда-то я был
И что я презирал, ненавидел, любил.

Начинается новая жизнь для меня,
И прощаюсь я с кожей вчерашнего дня.

Больше я от себя не желаю вестей
И прощаюсь с собою до мозга костей,

И уже, наконец, над собою стою,
Отделяю посылую душу мою,

В пустоте оставляю себя самого,
Равнодушно смотрю на себя — на него.

Здравствуй, здравствуй, моя ледяная броня,
Здравствуй, хлеб без меня и вино без меня,

Сновидения ночи и бабочки дня,
Здравствуй, всё без меня и вы все без меня!

Я читаю страницы неписанных книг,
Слышу круглого яблока круглый язык,

Слышу белого облака белую речь,
Но ни слова для вас не умею сберечь,

Потому что сосудом скудельным я был
И не знаю, зачем сам себя я разбил.

Больше сферы подвижной в руке не держу
И ни слова без слова я вам не скажу.

А когда-то во мне находили слова
Люди, рыбы и камни, листва и трава.

1957

* * *

Я долго добивался,
Чтоб из стихов своих
Я сам не порывался
Уйти, как лишний стих.

Где свистуны свистели
И щелкал шелкопер,
Я сам свое веселье
Отправил под топор.

Быть может, идиотство
Сполна платить судьбой
За паспортное сходство
Строки с самим собой.

А все-таки уставляю
Свои глаза на вас,
Себя в живых оставляю
Навек или на час,

Оставляю в каждом звуке
И в каждой запятой
Натруженные руки
И трезвый опыт свой.

Вот почему без страха
Смотрю себе вперед,
Хоть рифма, точно плаха,
Меня сама берет.

1958

КАКТУС

Далеко, далеко, за полсвета
От родимых долгот и широт,
Допотопное чудище это
У меня на окошке живет.

Что ему до воклюзского лавра
И персидских мучительниц-роз,
Если он под пятой бронтозавра
Ластовидной листвою оброс?

Терпеливый приемыш чужбины,
Доживая сотысячный век,
Гонит он из тугой сердцевины
Восковой криворукий побег.

Жажда жизни кору пробивала, —
Он живет во всю ширь своих плеч
Той же силой, что нам даровала
И в могилах звучащую речь.

1948

ДЕРЕВО ЖАННЫ

Мне говорят, а я уже не слышу,
Что говорят. Моя душа к себе
Прислушивается, как Жанна Д'Арк.
Какие голоса тогда поют!

И управлять я научился ими:
То флейты вызываю, то фаготы,
То арфы. Иногда я просыпаюсь,
А все уже давным-давно звучит,
И кажется — финал не за горами.

Привет тебе, высокий ствол и ветви
Упругие, с листвой зелено-ржавой,
Таинственное дерево, откуда
Ко мне слетает птица первой ноты.

Но стоит взяться мне за карандаш,
Чтоб записать словами гул литавров,
Охотничьи сигналы духовых,
Весенние размытые порывы
Смычков, — я понимаю, что со мной:
Душа к губам прикладывает палец —
Молчи! Молчи!

И все, чем смерть жива

И жизнь сложна, приобретает новый,
Прозрачный, очевидный, как стекло,
Внезапный смысл. И я молчу, но я
Весь без остатка, весь как есть — в раструбе
Воронки, полной утреннего шума.
Вот почему, когда мы умираем,
Оказывается, что ни полслова
Не написали о себе самих,
И то, что прежде нам казалось нами,
Идет по кругу
Спокойно, отчужденно, вне сравнений
И нас уже в себе не заключает.

Ах, Жанна, Жанна, маленькая Жанна!
Пусть коронован твой король, — какая
Заслуга в том? Шумит волшебный дуб,
И что-то голос говорит, а ты
Огнем горишь в рубахе не по росту.

1959

КОРА

Когда я вечную разлуку
Хлебну, как ледяную ртуть,
Не уходи, но дай мне руку
И проводи в последний путь.

Постой у смертного порога
До темноты, как луч дневной,
Побудь со мной еще немного
Хоть в трех аршинах надо мной.

Ужасный рот царицы Кору
Улыбкой привечает нас,
И душу обнажают взоры
Ее слепых загробных глаз.

1958

СОКРАТ

Я не хочу ни власти над людьми,
Ни почестей, ни войн победоносных.
Пусть я застыну, как смола на соснах,
Но я не царь, я из другой семьи.

Дано и вам, мою цикуту пьющим,
Пригубить немоту и глухоту.
Мне рубище раба не по хребту,
Я не один, но мы еще в грядущем.

Я плоть от вашей плоти, высота
Всех гор земных и глубина морская.
Как раковину мир переполняя,
Шумит по-олимпийски пустота.

1959

КАРЛОВЫ ВАРЫ

Даже песня дается недаром,
И уж если намучились мы,
То какими дрожжами и жаром
Здесь когда-то вздымало холмы?

А холмам на широкую спину,
Как в седло, посадили кремли
И с ячменных полей десятину
В добрый Пильзен варить повезли.

Расцветай же, как лучшая роза
В наилучшем трехмерном плену,
Дорогая житейская проза,
Воспитавшая эту страну.

Пойте, честные чешские птицы,
Пойте, птицы, пока по холмам
Бродит грузный и розоволицый
Старый Гете, столь преданный вам.

1959

УТРО В ВЕНЕ

Где ветер бросает ножи
В стекло министерств и музеев,
С насмешливым свистом стрижи
Стригут комаров-ротозеев.

Оттуда на город забот,
Работ и вечерней зевоты,
На роботов Моцарт ведет
Свои насекомые ноты.

Живи, дорогая свирель!
Под праздник мы пол натирали,
И в окна посыпался хмель —
На каждого по сто спиралей.

И если уж смысла искать
В таком суматошном концерте,
То молодость, правду сказать,
Под старость опаснее смерти.

1958

АНЖЕЛО СЕККИ

— Прости, мой дорогой мерцовский экваториал!

Слова Секки

Здесь, в Риме, после долгого изгнания,
Седой, полуслепой, полуживой,
Один среди небесного сиянья,
Стоит он с непокрытой головой.

Дыханье Рима — как сухие травы.
Привет тебе, последняя ступень!
Судьба лукава, и цари не правы,
А все-таки настал и этот день.

От мерцовского экваториала
Он старых рук не властен оторвать;
Урания не станет, как бывало,
В пустынной этой башне пировать.

Глотая горький воздух, гладит Секки
Давным-давно не чищенную медь.
— Прекрасный друг, расстанемся навеки,
Дай мне теперь спокойно умереть.

Он сходит по ступеням обветшалым
К небытию, во прах, на Страшный суд,
И ласточки над экваториалом,
Как вестницы забвения, снуют.

Еще ребенком я оплакал эту
Высокую, мне родственную тень,
Чтоб, вслед за ней пройдя по белу свету,
Благословить последнюю ступень.

1957

* * *

Пускай меня простит Винсент Ван Гог
За то, что я помочь ему не мог,

За то, что я травы ему под ноги
Не постелил на выжженной дороге,

За то, что я не развязал шнурков
Его крестьянских пыльных башмаков,

За то, что в зной не дал ему напиться,
Не помешал в больнице застрелиться.

Стою себе, а надо мной навис
Закрученный, как пламя, кипарис.

Лимонный крон и темно-голубое, —
Без них не стал бы я самим собою;

Унизил бы я собственную речь,
Когда б чужую ношу сбросил с плеч.

А эта грубость ангела, с какою
Он свой мазок роднит с моей строкою,

Ведет и вас через его зрачок
Туда, где дышит звездами Ван Гог.

1958

БАЛЕТ

Пиликает скрипка, гудит барабан,
И флейта свистит по-эльзасски,
На сцену въезжает картонный рыдван
С раскрашенной куклой из сказки.

Оттуда ее вынимает партнер,
Под ляжку подставив ей руку,
И тащит силком на гостиничный двор
К пиратам на верную муку.

Те точат кинжалы, и крутят усы,
И топают в такт каблуками,
Карманные враз вынимают часы
И дико сверкают белками, —

Мол, резать пора! Но в клубничном трико,
В своем лебедином крахмале,
Над рампою прима взлетает легко,
И что-то вибрирует в зале.

Сценической чуши магический ток
Находит, как свист соловьиный,
И пробует волю твою на зубок
Холодный расчет балерины.

И весь этот пот, этот грим, этот клей,
Смущавшие вкус твой и чувства,
Уже завладели душою твоей.
Так что же такое искусство?

Наверное, будет угадана связь
Меж сценой и Дантовым адом,
Иначе откуда бы площадь взялась
Со всей этой шушерой рядом?

1957

В МУЗЕЕ

Это не мы, это они — ассирийцы,
Жезл государственный бравшие крепко в клешни,
Глинобородые боги-народоубийцы,
В твердых одеждах цари, — это они!

Кровь, как булыжник, торчит из щербатого горла,
И невозможно пресытиться жизнью, когда
В дыхало льву пернатые вогнаны сверла,
В рабских ноздрях — жесткий уксус царева суда.

Я проклиная тиару Шамшиадада,
Я клинописной хвалы не пишу все равно,
Мне на земле ни почета, ни хлеба не надо,
Если мне царские крылья разбить не дано.

Жизнь коротка, но довольно и ста моих жизней,
Чтобы заполнить глотающий кости провал.
В башенном городе у ассирийцев на тризне
Я хорошо бы с казненными попиrowал.

Я проклиная подошвы царских сандалий.
Кто я — лев или раб, чтобы мышцы мои
Без воздаянья в соленую землю втоптали
Прямоугольные каменные муравьи?

1960

ПЕРЕВОДЧИК

Шах с бараньей мордой — на троне.
Самарканд — на шахской ладони.
У подножья — лиса в чалме
С тысячью двестиший в уме.
Розы сахаринной породы,
Соловьиная пахлава,
Ах, восточные переводы,
Как болит от вас голова.

Полуголый палач в застенке
Воду пьет и таращит зенки.
Все равно. Мертвеца в рядню
Зашивают, пока темно.
Спи без просыпу, царь природы,
Где твой меч и твои права?
Ах, восточные переводы,
Как болит от вас голова.

Да пребудет роза редифом,
Да царит над голодным тифом
И соленой паршой степей
Лунный выкормыш — соловей.
Для чего я лучшие годы
Продал за чужие слова?
Ах, восточные переводы,
Как болит от вас голова.

Зазубрил ли ты, переводчик,
Арифметику парных строчек?
Каково тебе по песку
Волочить старуху-тоску?
Ржа пустыни щепотью соды
Ни жива шипит, ни мертва.
Ах, восточные переводы,
Как болит от вас голова.

1960

* * *

Порой по улице бредешь —
Нахлынет вдруг весть откуда
И по спине пройдет, как дрожь,
Бессмысленная жажда чуда.

Не то чтоб встал кентавр какой
У магазина под часами,
Не то чтоб на Серпуховской
Открылось море с парусами,

Не то чтоб захотеть — и ввысь
Кометой взвиться над Москвою
Иль хоть по улице пройтись
На полвершка над мостовую.

Когда комета не взвилась,
И это назовешь удачей.
Жаль: у пространств иная связь,
И времена живут иначе.

На белом свете чуда нет,
Есть только ожиданье чуда.
На том и держится поэт,
Что эта жажда ниоткуда.

Она ждала тебя сто лет,
Под фонарем изнемогая...
Ты ею дорожи, поэт,
Она — твоя Серпуховская,

Твой город, и твоя земля,
И невзлетевшая комета,
И даже парус корабля,
Сто лет как сгинувший со света.

Затем и на земле живем,
Работаем и узнаем
Друг друга по ее приметам,
Что ей придется стать стихом,
Когда и ты рожден поэтом.

1946

МОГИЛА ПОЭТА

Памяти Н. А. Заболоцкого

I

За мертвым сиротливо и пугливо
Душа тянулась из последних сил,
Но мне была бессмертьем перспектива
В минувшем исчезающих могил.

Листва, трава — все было слишком живо,
Как будто лупу кто-то положил
На этот мир смущенного порыва,
На эту сеть пульсирующих жил.

Вернулся я домой, и вымыл руки,
И лег, закрыв глаза. И в смутном звуке,
Проникшем в комнату из-за окна,

И в сумерках, нависших, как в предгрозье,
Без всякого бессмертья, в грубой прозе
И наготе стояла смерть одна.

Венков еловых птичьих лапки
В снегу остались от живых.
Твоя могила в белой шапке,
Как царь, проходит мимо них
Туда, к распахнутым воротам,
Где ты не прах, не человек,
И в облаках за поворотом
Восходит снежный твой ковчег.

Не человек, а череп века,
Его чело, язык и медь.

Заката огненное веко
Не может в небе догореть.

[1958—1959]

В ДОРОГЕ

Где черный ветер, как налетчик,
Поет на языке блатном,
Проходит путевой обходчик,
Во всей степи один с огнем.

Над полоскою отчужденья
Фонарь качается в руке,
Как два крыла из сновиденья
В середине ночи на реке.

И в желтом колыбельном свете
У мирозданья на краю
Я по единственной примете
Родную землю узнаю.

Есть в рельсах железнодорожных
Пророческий и смутный зов
Благословенных, невозможных,
Не спящих ночью городов.

И осторожно, как художник,
Следит проезжий за огнем,
Покуда железнодорожник
Не пропадет в краю степном.

1958

ЗЕМНОЕ

Когда б на роду мне написано было
 Лежать в колыбели богов,
Меня бы небесная мамка вспоила
 Святым молоком облаков,

И стал бы я богом ручья или сада,
 Стерег бы хлеба и гроба, —
Но я человек, мне бессмертья не надо:
 Страшна неземная судьба.

Спасибо, что губ не свела мне улыбка
 Над солью и желчью земной.
Ну что же, прощай, олимпийская скрипка,
 Не смейся, не пой надо мной.

1960

II

БЛИЗОСТЬ ВОЙНЫ

Кто может умереть — умрет,
Кто выживет — бессмертен будет,
Пойдет греметь из рода в род,
Его и правнук не осудит.

На предпоследнюю войну
Бок ó бок с новыми друзьями
Пойдем в чужую сторону.
Да будет память близких с нами!

Счастливец, кто переживет
Друзей и подвиг свой военный,
Залечит раны и пойдет
В последний бой со всей вселенной.

И слава будет не слова,
А свет для всех, но только проще,
И эта жизнь — плакун-трава
Пред той широкошумной рощей.

1939

ЧИСТОПОЛЬСКАЯ ТЕТРАДЬ

I

Льнут к Господнему порогу
Белоснежные крыле,
Чуть воздушную тревогу
Объявляют на земле.

И когда душа стенает
И дрожит людская плоть,
В смертный город посылает
Соглядатая Господь.

И летит сквозь мрак проклятый,
Сквозь лазурные лучи
Невидимый соглядатай,
Богом посланный в ночи.

Не боится Божье диво
Ни осады, ни пальбы,
Ни безумной, красногривой
Человеческой судьбы.

Ангел видит нас, бездольных,
До утра сошедших в ад,
И в убежищах подпольных
Очи ангела горят.

Не дойдут мольбы до Бога,
Сердце ангела — алмаз.
Продолжается тревога,
И Господь не слышит нас.

Рассекает воздух душный,
Не находит горних роз
И не хочет равнодушный
Божий ангел наших слез.

Мы Господних риз не крали
И в небесные врата
Из зениток не стреляли.
Мы — тщета и нищета —

Только тем и виноваты,
Что сошли в подпольный ад.
А быть может, он, крылатый,
Перед нами виноват?

[25.X.1941]

II

Беспомощней, суровее и суше
Я духом стал под бременем несчастий.
В последний раз ты говоришь о страсти,
Не страсть, а скорбь терзает наши души.

Пред дикими заклятьями кликуши
Не вздрогнет мир, разорванный на части.
Что стоит плач, что может звон запястий,
Когда свистит загробный ветер в уши?

В кромешном шуме рокового боя
Не слышно клятв, а слово бесполезно.
Я не бессмертен, ты, как тень, мгновенна.

Нет больше ни приюта, ни покоя,
Ни ангела над пропастью беззвездной.
А ты одна, одна во всей вселенной.

[7.XI.1941]

III

Вложи мне в руку Николин образок,
Унеси меня на морской песок,
Покажи мне южный морской парусок.

Горше горького моя беда,
Слаще меда морская твоя вода.
Уведи меня отсюда навсегда.

Сонный осетр подо льдом стоит.
Пальцы мне ломает смертный стыд.
Нет на свете жестче прикамских обид.

Я вошел бы в избу — нет сверчка в уголке,
Я на лавку бы лег — нет иконки в руке,
Я бы в Каму бросился, да лед на реке.

[11.XI.1941]

IV. БЕЖЕНЕЦ

Не пожалела на дорогу соли,
Так насолила, что свела с ума.
Горишь, святая камская зима,
А я живу один, как ветер в поле.

Скупишься, мать, дала бы хлеба, что ли,
Полны ядреным снегом закрома,
Бери да ешь. Тяжка моя сума:
Полпуда горя и ломоть недоли.

Я ноги отморожу на ветру,
Я беженец, я никому не нужен.
Тебе-то все равно, а я умру.

Что делать мне среди твоих жемчужин
И кованного стужей серебра
На черной Каме, ночью, без костра?

[13.XI.1941]

V

Дровяные, погонные возвожу алтари.
Кама, Кама, река моя, полыньи свои отвори.

Все, чем татары хвастали, красавица, покажи,
Наточенные ножи да затопленные баржи.

Окаю, гибель кличу, баланду кипячу,
Каторжную тачку матерясь качу.

С возчиками, с грузчиками пью твое вино,
По доске скрипучей сойду на черное дно.

Кама, Кама, чем я плачу за твою ледяную парчу?
Я за твою парчу верной смертью плачу.

[15.XI.1941]

VI

Смерть на все накладывает руку.
Страшно мне на Чистополь взглянуть.
Арестантов подняли на муку,
Диким снегом заметает путь.

Дымом горьким ты глаза мне застишь,
Дикой стужей веешь за спиной,
И в слезах распахиваешь настежь
Двери Богом проклятой пивной.

На окошках теплятся коптилки
Мутные, блаженные твои.
Что же на больничные носилки
Сын твой не ложится в забытьи?

В смертный час напомнишь ли о самой
Смертной доле — и летишь опять,
И о чем всю ночь поешь за Камой,
Что конвойным хочешь рассказать?

[18.XI.1941]

VII

Нестерпимо во гневе караешь, Господь.
Стыну я под дыханьем твоим,
Ты людскую мою беззащитную плоть
Рассекаешь мечом ледяным.

Вьюжный ангел мне молотом пальцы дробит
На закате Судного дня
И целует в глаза, и в уши трубит,
И снегами заносит меня.

Я дышать не могу под твоей стопой,
Я вином твоим пыточным пьян.
Кто я, Господи Боже мой, перед тобой?
Себастьян, твой слуга Себастьян.

[18.XI.1941]

VIII

Упала, задохнулась на бегу,
Огнем горит твой город златоглавый, —
А все платочек комкаешь кровавый,
Все маешься, недужная, в снегу.

Я не ревную к моему врагу,
Я не страшусь твоей недоброй славы,
Кляни меня, замучь, но — Боже правый! —
Любить тебя в обиде не могу.

Не птицелов раскидывает сети,
Сетями воздух стал в твой смертный час,
Нет для тебя живой воды на свете.

Когда Господь от гибели не спас,
Как я спасу, как полюблю — такую?
О нет, очнись, я гибну и тоскую...

[28.XI.1941]

IX

Вы нашей земли не считаете раем,
А краем пшеничным, чужим караваем, —
Штыком вы отрезали лучшую треть.
Мы намертво знаем, за что умираем:
Мы землю родную у вас отбираем,
А вам — за ворованный хлеб умереть!

[1941]

Х

Зову — не отзывается, крепко спит Марина.
Елабуга, Елабуга, кладбищенская глина,

Твоим бы именем назвать гиблое болото,
Таким бы словом, как засовом, запираешь ворота,

Тобою бы, Елабуга, детей стращать немилых,
Купцам бы да разбойникам лежать в твоих
могилах.

А на кого дохнула ты холодом лютым?
Кому была последним земным приютом?

Чей слышала перед зарей возглас лебединый?
Ты слышала последнее слово Марины.

На гибельном ветру твоём я тоже стыну.
Еловая, проклятая, отдай Марину!

[28.XI.1941]

СУББОТА, 21 ИЮНЯ

Пусть роют щели хоть под воскресенье.
В моих руках надежда на спасенье.

Как я хотел вернуться в до-войны,
Предупредить, кого убить должны.

Мне вон тому сказать необходимо:
«Иди сюда, и смерть промчится мимо».

Я знаю час, когда начнут войну,
Кто выживет, и кто умрет в плену,

И кто из нас окажется героем,
И кто расстрелян будет перед строем,

И сам я видел вражеских солдат,
Уже заполонивших Сталинград,

И видел я, как русская пехота
Штурмует Бранденбургские ворота.

Что до врага, то все известно мне,
Как ни одной разведке на войне.

Я говорю — не слушают, не слышат,
Несут цветы, субботним ветром дышат,

Уходят, пропусков не выдают,
В домашний возвращаются уют.

И я уже не помню сам, откуда
Пришел сюда и что случилось чудо.

Я все забыл. В окне еще светло,
И накрест не заклеено стекло.

1945

* * *

Кони ржут за Сулою...

«Слово о полку Игореве»

Русь моя, Россия, дом, земля и мать!

Ты для новобрачного — свадебная скатерть,

Для младенца — колыбель, для юного — хмель,

Для скитальца — посох, пристань и постель,

Для пахаря — поле, для рыбака — море,

Для друга — надежда, для недруга — горе,

Для кормщика — парус, для воина — меч,

Для книжника — книга, для пророка — речь,

Для молотобойца — молот и сила,

Для живых — отцовский кров, для мертвых — могила,

Для сердца сыновьяго — негасимый свет.

Нет тебя прекрасней и желанней нет.

Разве даром уголь твоего глагола

Рдяным жаром вспыхнул под пятой монгола?

Разве горький Игорь, смертью смерть поправ,

Твой не красил кровью бебряный рукав?

Разве киноварный плащ с плеча Рублева
На ветру широком не полощет снова?

Как душе — дыханье, руке — рукоять.
Хоть бы в пропасть кинуться — тебя отстоять.

1941—1944

* * *

Тебе не наскучило каждому снится,
Кто с князем твоим горевал на войне,
О чем же ты плачешь, княгиня-зегзица,
О чем ты поешь на кремлевской стене?

Твой Игорь не умер в плену от печали,
Погоне назло доконал он коня,
А как мы рубились на темной Каяле,
Твой князь на Каяле оставил меня.

И впору бы мне тетивой удавиться,
У каменной бабы воды попросить.
О том ли в Путивле кукуешь, зегзица,
Что некому раны мои остудить?

Так долго я спал, что по русские очи
С каленым железом пришла татарва,
А смерть твоего кукованья короче,
От крови моей почернела трава.

Спасибо тебе, что стонала и пела.
Я ветром иду по горячей золе,
А ты разнеси мое смертное тело
На сизом крыле по родимой земле.

1945—1946

ПРОВОДЫ

Вытрет губы, наденет шинель
И, не глядя, жену поцелует.
А на улице ветер лютует,
Он из сердца повыдует хмель.

И потянется в город обоз,
Не добудешь ста грамм по дороге,
Только ветер бросается в ноги
И глаза обжигает до слез.

Был колхозником — станешь бойцом.
Пусть о родине, вольной и древней,
Мало песен сложили в деревне —
Выйдешь в поле, и дело с концом.

А на выезде плачет жена,
Причитая и руки ломая,
Словно черные кони Мамаю
Где-то близко, как в те времена,
Мчатся, снежную пыль подымая,
Ветер бьет, и звенят стремяна.

[1943]
[дер. Трисино]

* * *

Чего ты не делала только,
 чтоб видеться тайно со мною...
Тебе не сиделось, должно быть,
 за Камой, в дому невысоком,
Ты пóд ноги стлалась травкою,
 уж так шелестела весною,
Что боязно было: шагнешь —
 и заденешь тебя ненароком.

Кукушкой в лесу притаилась
 и так куковала, что люди
Завидовать стали: ну вот,
 Ярославна твоя прилетела!
И если я бабочку видел,
 когда и подумать о чуде
Безумием было, я знал:
 ты взглянуть на меня захотела.

А эти павлиньи глазки —
 там лазори по капельке было
На каждом крыле — и светились...
 Я, может быть, со свету сгину,
А ты не покинешь меня,
 и твоя чудотворная сила

Травую оденет, цветами подарит
и камень, и глину.

И если к земле присмотреться,
чешуйки все в радугах. Надо
Ослепнуть, чтоб имя твое
не прочесть на ступеньках и сводах
Хором этих нежно-зеленых.
Вот верности женской засада:
Ты за ночь построила город
и мне приготовила отдых.

А ива, что ты посадила
в краю, где вовек не бывала?
Тебе до рожденья могли
терпеливые ветви присниться,
Качалась она, подрастая,
и соки земли принимала.
За ивой твоей довелось мне,
за ивой от смерти укрыться.

С тех пор не дивлюсь я, что гибель
обходит меня стороною:
Я должен ладью отыскать,
плыть и плыть и, замучась, причалить,
Увидеть такую тебя,
чтобы вечно была ты со мною,
И крыл твоих, глаз твоих,
рук — никогда не печалить.

Приснись мне, приснись мне, приснись,
приснись мне еще хоть однажды.
Война меня потчует солью,
а ты этой соли не трогай,

Нет горечи горше, и горло мое
пересохло от жажды,
Дай пить, напои меня, дай мне воды
хоть глоток, хоть немного.

1942

[Под Ивановом]

ПОРТНОЙ ИЗ ЛЬОВОА,
ПЕРЕЛИЦОВКА И ПОЧИНКА

(Октябрь, 1941)

С чемоданчиком картонным,
Ластоногий, в котелке,
По каким-то там перронам,
С гнутой тросточкой в руке,

Сумасшедший, безответный,
Бедный житель городской,
Одержимый безбилетной,
Неприкаянной тоской.

Не из Лодзи, так из Львова,
Не в Казань, так на Уфу.
— Это ж казнь, даю вам слово,
Без фуфайки, на фуфу!

Колос недожатой нивы
Под сверкающим серпом.
Третьи сутки жгут архивы
В этом городе чужом.

А в вагонах — наркоматы,
Места нет живой душе,
Госпитальные халаты
И японский атташе.

Часовой стоит на страже,
Начинается пальба,
И на город черной пряжей
Опускается судьба.

Чудом сузилась жилетка,
Пахнет снегом и огнем,
И полна грудная клетка
Царским траурным вином.

Привкус меди, смерти, тлена
У него на языке,
Будто царь царей из плена
К небесам воззвал в тоске.

На полу лежит в теплушке
Без подушки, без пальто
Побирушка без полушки,
Странник, беженец, никто.

Он стоит над стылой Камой.
Спит во гробе город Львов.
Страждет сын печали, самый
Нищий из ее сынов.

Ел бы хлеб, да нету соли,
Ел бы соль, да хлеба нет.
Снег растает в чистом поле.
Порастет полынью след.

1947

* * *

Хорошо мне в теплушке,
Тут бы век вековать, —
Сумка вместо подушки,
И на дождь наплевать.

Мне бы ехать с бойцами,
Грызть бы мне сухари,
Петь да спать бы ночами
От зари до зари,

У вокзалов разбитых
Брать крутой кипяток —
Бездомовный напиток —
В жестяной котелок.

Мне б из этого рая
Никуда не глядеть,
С темнотой засыпая,
Ничего не хотеть —

Ни дороги попятной,
Разоренной войной,
Ни туда, ни обратно,
Ни на фронт, ни домой, —

Но торопит, рыдая,
Песня стольких разлук,
Жизнь моя кочевая,
Твой скрежещущий стук.

1943

[теплушка, Живодовка — Сухиничи]

* * *

Ехал из Брянска в теплушке слепой,
Ехал домой со своею судьбой.

Что-то ему говорила она,
Только и слов — слепота и война.

Мол, хорошо, что незряч да убог,
Был бы ты зряч, уцелеть бы не мог.

Немец не тронул, на что ты ему?
Дай-ка, на плечи надену суму,

Ту ли худую, пустую суму,
Дай-ка, я веки тебе подыму.

Ехал слепой со своею судьбой,
Даром что слеп, а доволен собой.

1943

[в теплушке

Брянск — Живодовка]

ПЕСНЯ ПОД ПУЛЯМИ

Мы крепко связаны разладом,
Столетия нас не развели.
Я волхв, ты волк, мы где-то рядом
В текучем словаре земли.

Держась бок ó бок, как слепые,
Руководимые судьбой,
В бессмертном словаре России
Мы оба смертники с тобой.

У русской песни есть обычай
По капле брать у крови в долг
И стать твоей ночной добычей.
На то и волхв, на то и волк.

Снег, как на бойне, пахнет сладко,
И ни звезды над степью нет.
Да и тебе, старик, свинчаткой
Еще перешибут хребет.

1960

* * *

На черной трубе погорелого дома
Орел отдыхает в безлюдной степи.
Так вот что мне с детства так горько знакомо:
Видение цезарианского Рима —
Горбатый орел, и ни дома, ни дыма...
А ты, мое сердце, и это стерпи.

1958

* * *

Стояла батарея за этим вот холмом,
Нам ничего не слышно, а здесь остался гром,
Под этим снегом трупы еще лежат вокруг,
И в воздухе морозном остались взмахи рук.
Ни шагу знаки смерти ступить нам не дают.
Сегодня снова, снова убитые встают.
Сейчас они услышат, как снегири поют.

1942

[под Сухиничами]

ПОЛЕВОЙ ГОСПИТАЛЬ

Стол повернули к свету. Я лежал
Вниз головой, как мясо на весах,
Душа моя на нитке колотилась,
И видел я себя со стороны:
Я без довесков был уравновешен
Базарной жирной гирей.

Это было

Посередине снежного щита,
Щербатого по западному краю,
В кругу незамерзающих болот,
Деревьев с перебитыми ногами
И железнодорожных полустанков
С расколотыми черепами, черных
От снежных шапок, то двойных, а то
Тройных.

В тот день остановилось время,
Не шли часы, и души поездов
По насыпям не пролетали больше
Без фонарей, на серых ластах пара,
И ни вороньих свадеб, ни метелей,
Ни оттепелей не было в том лимбе,
Где я лежал в позоре, в наготу,
В крови своей, вне поля тяготенья
Грядущего.

Но сдвинулся и на оси пошел
По кругу щит слепительного снега,
И низко у меня над головой
Семерка самолетов развернулась,
И марля, как древесная кора,
На теле затвердела, и бежала
Чужая кровь из колбы в жилы мне,
И я дышал как рыба на песке,
Глотая твердый, слюдяной, земной,
Холодный и благословенный воздух.

Мне губы обметало, и еще
Меня поили с ложки, и еще
Не мог я вспомнить, как меня зовут,
Но ожил у меня на языке
Словарь царя Давида.

А потом

И снег сошел, и ранняя весна
На цыпочки привстала и деревья
Окутала своим платком зеленым.

1964

БАБОЧКА В ГОСПИТАЛЬНОМ САДУ

Из тени в свет перелетая,
Она сама и тень и свет,
Где родилась она такая,
Почти лишенная примет?
Она летает, приседая,
Она, должно быть, из Китая,
Здесь на нее похожих нет,
Она из тех забытых лет,
Где капля малая лазори
Как море синее во взоре.

Она клянется: навсегда! —
Не держит слова никогда,
Она едва до двух считает,
Не понимает ничего,
Из целой азбуки читает
Две гласных буквы —

А

и

О.

А имя бабочки — рисунок,
Нельзя произнести его,
И для чего ей быть в покое?
Она как зеркальце простое.

Пожалуйста, не улетай,
О госпожа моя, в Китай!
Не надо, не ищи Китая,
Из тени в свет перелетая.
Душа, зачем тебе Китай?
О госпожа моя цветная,
Пожалуйста, не улетай!

1945

ЗЕМЛЯ

За то, что на свете я жил неумело,
За то, что не кривдой служил я тебе,
За то, что имел небессмертное тело,
Я дивной твоей сопричастен судьбе.

К тебе, истомившись, потянутся руки
С такой наболевшей любовью обнять,
Я снова пойду за Великие Луки,
Чтоб снова мне крестные муки принять.

И грязь на дорогах твоих несладима,
И тощая глина твоя солона.
Слезами солдатскими будешь хранима
И вдовьей смертельною скорбью сильна.

1944

[госпиталь,
М<осква>]

ИВАНОВА ИВА

Иван до войны проходил у ручья,
Где выросла ива неведомо чья.

Не знали, зачем на ручей налегла,
А это Иванова ива была.

В своей плащ-палатке, убитый в бою,
Иван возвратился под иву свою.

Иванова ива,
Иванова ива,
Как белая лодка, плывет по ручью.

1958

ОХОТА

Охота кончается.
Меня затравили.
Борзая висит у меня на бедре.
Закинул я голову так, что рога уперлись
в лопатки.

Трублю.
Подрезают мне сухожилья.
В ухо тычут ружейным стволом.

Падает на бок, цепляясь рогами за мокрые прутья.
Вижу я тусклое око с какой-то налипшей травинкой.
Черное, окостеневшее яблоко без отражений.
Ноги свяжут, и шест проденут, вскинут на плечи...

1944

ЧЕМ ПАХНЕТ СНЕГ

Был первый снег как первый смех
И первые шаги ребенка.
Глядишь — он выровнен, как мех,
На елках, на березах — снег, —
Чем не снегуркина шубенка?
И лунки — по одной на всех:
Солонка или не солонка,
Но только завтра, как на грех,
Во всем преобразится снег.

Зима висит на хвойных лапах,
По-праздничному хороша,
Арбузный гоголевский запах —
Ее декабрьская душа.

В бумажных колпаках и шляпах,
Тряпье в чулане вороша,
Усы наводят жженой пробкой,
Румянец — свеклой; кто в очках,
Кто скалку схватит впопыхах —
И в двери, с полною коробкой
Огня бенгальского в руках.

Факир, вампир, гусар с цыганкой,
Коза в тулупе вверх изнанкой,
С пеньковой бородой монах
Гурьбой закладывают сани,
Под хохот бьется бубенец,
От ряженных воспоминаний
Зима устанет наконец.

И — никого, и столбик ртути
На милость стужи сдастся днем,
В малиновой и дымной смуте
И мы пойдем своим путем,
Почуем запах госпитальный
Сплошного снежного пласта,
Дыханье ступит, как хрустальный
Морозный ангел, на уста.

И только в марте потеплеет,
И, как на карте, запестреет,
Там косогор, там буерак,
А там лозняк, а там овраг.

Сойдешь с дороги — вязнут ноги,
Передохни, когда не в спех,
Постой немного при дороге:
Весной бензином пахнет снег.

Бензином пахнет снег у всех,
В любом краю, но в Подмосковье
Особенно, и пахнет кровью.
Остался этот запах с тех
Времен, когда сороковые
По снегу в гору свой доспех
Тащили годы чуть живые...

Уходят души снеговые,
И остается вместо вех
Бензин, которым пахнет снег.

1962

ПОСЛЕ ВОЙНЫ

1

Как дерево поверх лесной травы
Распластывает листьев пятерню
И, опираясь о кустарник, вкось,
И вширь, и вверх распространяет ветви,
Я вытянулся понемногу. Мышцы
Набухли у меня, и раздалась
Грудная клетка. Легкие мои
Наполнил до мельчайших альвеол
Колючий спирт из голубого кубка,
И сердце взяло кровь из жил, и жилам
Вернуло кровь, и снова взяло кровь,
И было это как преображенье
Простого счастья и простого горя
В прелюдию и фугу для органа.

2

Меня хватило бы на все живое —
И на растения, и на людей,
В то время умиравших где-то рядом
И где-то на другом конце земли

В страданиях немыслимых, как Марсий,
С которого содрали кожу. Я бы
Ничуть не стал, отдав им жизнь, бедней
Ни жизнью, ни самим собой, ни кровью,
Но сам я стал как Марсий. Долго жил
Среди живых, и сам я стал как Марсий.

3

Бывает, в летнюю жару лежишь
И смотришь в небо, и горячий воздух
Качается, как люлька, над тобой,
И вдруг находишь странный угол чувств:
Есть в этой люлке щель, и сквозь нее
Проходит холод запредельный, будто
Какая-то иголка ледяная...

4

Как дерево с подмытого обрыва,
Разбрызгивая землю над собой,
Обрушивается корнями вверх,
И быстрина перебирает ветви,
Так мой двойник по быстрине иной
Из будущего в прошлое уходит.
Вослед себе я с высоты смотрю
И за сердце хватаюсь. Кто мне дал
Трепещущие ветви, мощный ствол
И слабые, беспомощные корни?
Тлетворна смерть, но жизнь еще тлетворней,
И необуздан жизни произвол.
Уходишь, Лазарь? Что же, уходи!
Еще горит полнеба за спиной.
Нет больше связи меж тобой и мною.
Спи, жизнелюбец! Руки на груди
Сложи и спи!

Приди, возьми, мне ничего не надо,
Люблю — отдам и не люблю — отдам.
Я заменить хочу тебя, но если
Я говорю, что перейду в тебя,
Не верь мне, бедное дитя, я лгу...
О, эти руки с пальцами, как лозы,
Открытые и влажные глаза,
И раковины маленьких ушей,
Как блюдца, полные любовной песни,
И крылья, ветром выгнутые круто...
Не верь мне, бедное дитя, я лгу,
Я буду порываться, как казнимый,
Но не могу я через отчужденье
Переступить, и не могу твоим
Крылом плеснуть, и не могу мизинцем
Твоим коснуться глаз твоих, глазами
Твоими посмотреть. Ты во сто крат
Сильней меня, ты — песня о себе,
А я — наместник дерева и неба
И осужден твоим судом за песню.

[1960—1969]

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Еще в скорлупе мы висим на хвощах,
Мы — ранняя проба природы,
У нас еще кровь не красна, и в хрящах
Шумят силурийские воды,

Еще мы в пещере костра не зажгли
И мамонтов не рисовали,
Ни белого неба, ни черной земли
Богами еще не назвали.

А мы уже в горле у мира стоим
И бомбою мстим водородной
Еще не рожденным потомкам своим
За собственный грех первородный.

Ну что ж, золотые башни смахнем,
Развеем число Галилея
И Моцарта флейту продуем огнем,
От первого глена хмелея.

Нам снится немая, как камень, земля
И небо, нагое без птицы,
И море без рыбы и без корабля,
Сухие, пустые глазницы.

[1960]

ЗУММЕР

Я бессмертен, пока я не умер,
И для тех, кто еще не рожден,
Разрываю пространство, как зуммер
Телефона грядущих времен.

Так последний связист под обстрелом,
От большого пути в стороне,
Прикрывает расстрелянным телом
Ящик свой на солдатском ремне.

На снегу в затвердевшей шинели,
Кулаки к подбородку прижав,
Он лежит, как дитя в колыбели,
Правотой несравненную прав.

Где когда-то с боями прошли мы
От большого пути в стороне,
Разбегается неповторимый
Терпкий звук на широкой волне.

Это старая честь боевая
Говорит:

— Я земля. Я земля, —
Под землей провода расправляя
И корнями овсов шевеля.

1961

III

* * *

Снова я на чужом языке
Пересуды какие-то слышу, —
То ли это плоты на реке,
То ли падают листья на крышу.

Осень, видно, и впрямь хороша.
То ли это она колобродит,
То ли злая живая душа
Разговоры с собою заводит,

То ли сам я к себе не привык...
Плыть бы мне до чужих понизовий,
Петь бы мне, как поет плотовщик, —
Побольней, потемней, победовой,

На плоту натянуть дождевик,
Петь бы, шапку надвинув на брови,
Как поет на реке плотовщик
О своей невозвратной любви.

1946

* * *

Т. О.-Т.

Вечерний, сизокрылый,
Благословенный свет!
Я словно из могилы
Смотрю тебе вослед.

Благодарю за каждый
Глоток воды живой,
В часы последней жажды
Подаренный тобой.

За каждое движенье
Твоих прохладных рук,
За то, что утешенья
Не нахожу вокруг.

За то, что ты надежды
Уводишь, уходя,
И ткань твоей одежды
Из ветра и дождя.

1958

ТИТАНИЯ

Прямых стволов благословение
И млечный пар над головой,
И я ложусь в листву осеннюю,
Дышу подспудицей грибной.

Мне грешная моя, невинная
Земля моя передает
Свое терпенье муравьиное
И душу крепкую, как йод.

Кончатся мои скитания.
Я в лабиринт корней войду
И твой престол найду, Титания,
В твоей державе пропаду.

Что мне в моем погибшем имени?
Твой ржавый лист — моя броня.
Кляни меня, но не гони меня,
Убей, но не гони меня.

1958

* * *

Сирени вы, сирени,
И как вам не тяжел
Застывший в трудном крене
Альтовый гомон пчел?

Осталось нетерпенье
От юности моей
В горячей вашей пене
И в глубине теней.

А как дохнет по пчелам
И пробежит гроза
И ситцевым подолом
Ударит мне в глаза —

Пройдет прохлада низом
Траву в коленях гнуть,
И дождь по гроздьям сизым
Покатится, как ртуть.

Под вечер — ведро снова,
И, верно, в том и суть,
Чтоб хоть силком смычковый
Лиловый гуд вернуть.

1958

* * *

Жизнь меня к похоронам
Приучила понемногу.
Соблюдаем, слава богу,
Очередность по годам.

Но ровесница моя,
Спутница моя бывшая,
Отошла, не соблюдая
Зыбких правил бытия.

Несколько никчемных роз
Я принес на отпеванье,
Ложное воспоминанье
Вместе с розами принес.

Будто мы невесть куда
Едем с нею на трамвае,
И нисходит дождевая
Радуга на провода.

И при желтых фонарях
В семицветном оперенье
Слезы счастья на мгновенье
Загорятся на глазах,

И щека еще влажна,
И рука еще прохладна,
И она еще так жадно
В жизнь и счастье влюблена.

В морге млечный свет лежит
На серебряном газете,
И за эту смерть в ответе
Совесьть плачет и дрожит,

Тщетно силясь хоть чуть-чуть
Сдвинуть маску восковую
И огласку роковую
Жгучей солью захлестнуть.

[1951]

* * *

Мне в черный день приснится
Высокая звезда,
Глубокая криница,
Студеная вода
И крестики сирени
В росе у самых глаз.
Но больше нет ступени —
И тени спрячут нас.

И если вышли двое
На волю из тюрьмы,
То это мы с тобою,
Одни на свете мы,
И мы уже не дети,
И разве я не прав,
Когда всего на свете
Светлее твой рукав.

Что с нами ни случится,
В мой самый черный день,
Мне в черный день приснится
Криница и сирень,
И тонкое колечко,
И твой простой наряд,

И на мосту за речкой
Колеса простучат.

На свете все проходит,
И даже эта ночь
Проходит и уводит
Тебя из сада прочь.
И разве в нашей власти
Вернуть свою зарю?
На собственное счастье
Я как слепой смотрю.

Стучат. Кто там? — Мария. —
Отворишь дверь: — Кто там? —
Ответа нет. Живые
Не так приходят к нам,
Их поступь тяжелее,
И руки у живых
Грубее и теплее
Незримых рук твоих.

— Где ты была? — Ответа
Не слышу на вопрос.
Быть может, сон мой — это
Невнятный стук колес
Там, на мосту, за речкой,
Где светится звезда,
И кануло колечко
В криницу навсегда.

1952

IV

ЗАТМЕНИЕ СОЛНЦА. 1914

В то лето народное горе
Надело железную цепь,
И тлела по самое море
Сухая и пыльная степь,

И пóд вечер горькие дали,
Как душная бабья душа,
Багровой тревогой дышали
И бога хулили, греша.

А утром в село, на задворки,
Пришел дезертир босиком,
В белесой своей гимнастерке,
С голодным и темным лицом,

И, словно из церкви икона,
Смотрел он, как шел на ущерб
По ржавому дну небосклона
Алмазный сверкающий серп.

Запомнил я взгляд без движенья,
Совсем из державы иной,
И понял печать отчужденья
В глазах, обожженных войной.

И стало темно. И в молчанье,
Зеленом, глубоком как сон,
Ушел он и мне на прощанье
Оставил ружейный патрон.

Но сразу, по первой примете,
Узнать ослепительный свет...

.....
Как много я прожил на свете!
Столетие! Тысячу лет!

1958

ЕЛЕНА МОЛОХОВЕЦ

...после чего отжимки можно
отдать на кухню людям.

*Е. Молоховец. Подарок
молодым хозяйкам. 1911*

Где ты, писательница малосольная,
Молоховец, холуйка малохольная,
Блаженство десятипудовых туш
Владельцев десяти тысяч душ?
В каком раю? чистилище? мучилище?
Костедробилище? А где твои лещи
Со спаржей в зеве? раки бордолез?
Омары Крез? имперский майонез?
Кому ты с институтскими ужимками
Советуешь стерляжьими отжимками
Парадный опрозрачивать бульон,
Чтоб золотым он стал, как миллион,
Отжимки слугам скармливать, чтоб ведали,
Чем нынче наниматели обедали?

Вот ты сидишь под ледяной скалой,
Перед тобою ледяной налой,
Ты вслух читаешь свой завет поваренный,
Тобой хозяйкам молодым подаренный,
И червь насытый у тебя в руке,
В другой — твой череп мямлит в дуршлаге.
Ночная тень, холодная, голодная,
Полубайстрючка, полублагородная...

1957

ЮРОДИВЫЙ В 1918 ГОДУ

За квелую душу и мертвое царское тело
Юродивый молится, ручкой крестясь посинелой,
Ногами сучит на раскольников хрустком снегу:

— Ай, маменька,
тятенька,
бабенька,
гули-агу!
Дай Феде просвирку,
дай сирому Феде керенку,
дай, царь-государь,
импелай Николай,
на иконку!
Царица-лисица,
бух-бух,
помалей Алалей,
дай Феде цна-цна,
исцели,
не стрели,
Пантелей!

Что дали ему Византии орлы золотые,
И чем одарил его царский штандарт над Россией,
Парад перед Зимним, Кшесинская, Ленский расстрел?
Что слышал — то слушал, что слушал — понять не успел.

Гунявый, слюнявый, трясет своей вшивой рогожей,
И хлебную корочку гложет на белку похоже,
И красногвардейцу все тычется плешью в сапог.
А тот говорит:

— Не трясись, ешь спокойно, браток!

1957

* * *

Мы шли босые, злые,
И, как под снег ракита,
Ложилась мать Россия
Под конские копыта.

Стояли мы у стенки,
Где холодом тянуло,
Выкатывая zenки,
Смотрели прямо в дуло.

Кто знает щучье слово,
Чтоб из земли солдата
Не подымали снова,
Убитого когда-то?

1958

* * *

Встали хлопцы золотые
И покинули село,
Порешили за кордоном
Панну-лебедь добывать.
Научи меня, Россия,
Прядать ястребом в седло
И в тулупчике казенном
С Первой Конной бедовать.

Ух, дороги столбовые,
Кизяковый сладкий дым.
Наши мазанки да срубы
Колесом пошли на слом.
Научи меня, Россия,
Тем свистящим и взрывным,
От которых ломит зубы
И язык стоит колом.

Здравствуй, Катенька-невеста,
Степь родная без жилья!
Верный конь, врагу не выдав,
Душу выручил в бою.
Посреди бойцов мне место,
Встану в очередь и я,

Пусть поет Денис Давыдов,
Кончит песню — я спою.

Буду акать, буду окать,
Катю-степь возьму под локоть,
Конь пойдет подковой цокать,
Ёкать селезенкою.
Научи меня, Россия,
Лапать будяки степные
И под выстрелы сухие
Подходить сторонкою.

1960

СТИХИ ИЗ ДЕТСКОЙ ТЕТРАДИ

...О, мать Ахайя,
Пробудись, я твой лучник последний...

Из тетради 1921 г.

Почему захотелось мне снова,
Как в далекие детские годы,
Ради шутки не тратить ни слова,
Сочинять величавые оды,

Штурмовать олимпийские кручи,
Нимф искать по лазурным пещерам
И гекзаметр без всяких созвучий
Предпочесть новомодным размерам?

Географию древнего мира
На четверку я помню, как в детстве,
И могла бы Алкеева лира
У меня оказаться в наследстве.

Надо мной не смеялись матросы.
Я читал им:

«О, мать Ахайя!»

Мне дарили они папиросы,
По какой-то Ахайе вздыхая.

За гекзаметр в холодном вокзале,
Где жила молодая свобода,
Мне военные люди давали
Черный хлеб двадцать первого года.

Значит, шел я по верной дороге,
По кремнистой дороге поэта,
И неправда, что Пан козлоногий
До меня еще сгинул со света.

Босиком, но в буденновском шлеме,
Бедный мальчик в священном дурмане,
Верен той же аттической теме,
Я блуждал без копейки в кармане.

Ямб затасканный, рифма плохая —
Только бредни, постылые бредни,
И достойней:

«О, мать Ахайя,
Пробудись, я твой лучник последний...»

1958



Кухарка жирная у скарעד
На сковородке мясо жарит,
И приправляет чесноком,
Шафраном, уксусом и перцем,
И побирушку за окном
Костит и проклинает с сердцем.

А я бы тоже съел кусок,
Погрыз бараний позвонок
И, как хозяин, кружку пива
Хватил и завалился спать:
Кляните, мол, судите криво,
Голодных сытым не понять.

У, как я голодал мальчишкой!
Тетрадь стихов таскал под мышкой,
Баранку на два дня делил:
Положишь на зубок ошибкой...
И стал жильем певучих сил,
Какой-то невесомой скрипкой.

Сквозил я, как рыбацья сеть,
И над землею мог висеть.
Осенний дождь, двойник мой серый,

Долдонил в уши свой рассказ,
В облаву милиционеры
Ходили сквозь меня не раз.

А фонари в цветных размывах
В тех переулках шелудивых,
Где летом шагу не ступить,
Чтобы влюбленных в подворотне
Не всполошить!.. Я, может быть,
Воров московских был бесплотней,

Я в спальни тенью проникал,
Летал, как пух из одеял,
И молодости клясть не буду
За росчерк звезд над головой,
За глупое пристрастье к чуду
И за карман дырявый свой.

1957

ВЕЩИ

Все меньше тех вещей, среди которых
Я в детстве жил, на свете остается.
Где лампы-«молнии»? Где черный порох?
Где черная вода со дна колодца?

Где «Остров мертвых» в декадентской раме?
Где плюшевые красные диваны?
Где фотографии мужчин с усами?
Где тростниковые аэропланы?

Где Надсона чахоточный трехдольник,
Визитки на красавцах-адвокатах,
Пахучие калоши «Треугольник»
И страусова нега плеч покатых?

Где кудри символистов полупьяных?
Где рослых футуристов затрапезы?
Где лозунги на липах и каштанах,
Бандитов сумасшедшие обрезы?

Где твердый знак и буква «ять» с «фитою»?
Одно ушло, другое изменилось,
И что не отделялось запятою,
То запятой и смертью отделилось.

Я сделал для грядущего так мало,
Но только по грядущему тоскую
И не желаю начинать сначала:
Быть может, я работал не впустую.

А где у новых спутников порука,
Что мне принадлежат они по праву?
Я посягаю на игрушки внука,
Хлеб правнука, праправнукову славу.

1957

ФОТОГРАФИЯ

О. М. Грудцовой

В сердце дунет ветер тонкий,
И летишь, летишь стремглав,
А любовь на фото пленке
Душу держит за рукав,

У забвения, как птица,
По зерну крадет — и что ж?
Не пускает распылиться,
Хоть и умер, а живешь —

Не вовсю, а в сотой доле,
Под сурдинку и во сне,
Словно бродишь где-то в поле
В запредельной стороне.

Все, что мило, зримо, живо,
Повторяет свой полет,
Если ангел объектива
Под крыло твой мир берет.

1957

ГРЕЧЕСКАЯ КОФЕЙНЯ

Где белый камень в диком блеске
Глощает синьку вод морских,
Грек Ламбринуди в красной феске
Ждал посетителей своих.

Они развешивали сети,
Распутывали поплавки
И, улыбаясь точно дети,
Натягивали пиджаки.

— Входите, дорогие гости,
Сегодня кофе как вино! —
И долго в греческой кофейне
Гремели кости
Домино.

А чашки разносила Зоя,
И что-то нежное и злое
Скрывала медленная речь,
Как будто море кружевное
Спадало с этих узких плеч.

1958

ВЕРБЛЮД

На длинных нерусских ногах
Стоит, улыбаясь некстати,
А шерсть у него на боках,
Как вата в столетнем халате.

Должно быть, молясь на восток,
Кочевники перемудрили,
В подшерсток втирали песок
И ржавой колючкой кормили.

Горбатую царскую плоть,
Престол нищеты и терпенья,
Нещедрый пустынный-господь
Слепил из отходов творенья.

И в ноздри вложили замок,
А в душу — печаль и величье,
И, верно, с тех пор погремок
На шее болтается птичьей.

По Черным и Красным пескам,
По дикому зною бродяжил,
К чужим пристрастился тюкам,
Копейки под старость не нажил.

Привыкла верблюжья душа
К пустыне, тюкам и побоям.
А все-таки жизнь хороша,
И мы в ней чего-нибудь стоим.

1947

V

МОТЫЛЕК

Ходит мотылек
По ступеням света,
Будто кто зажег
Мельтешенье это.

Книжечку чудес
На лугу открыли,
Порошком небес
Подсинили крылья.

В чистом пузырьке
Кровь другого мира
Светится в брюшке
Мотылька-лепира.

Я бы мысль вложил
В эту плоть, но трогать
Мы не смеем жил
Фараона с ноготь.

1958

ПОСРЕДИНЕ МИРА

Я человек, я посредине мира,
За мною мириады инфузорий,
Передо мною мириады звезд.
Я между ними лег во весь свой рост —
Два берега связующее море,
Два космоса соединивший мост.

Я Нестор, летописец мезозоя,
Времен грядущих я Иеремия.
Держа в руках часы и календарь,
Я в будущее втянут, как Россия,
И прошлое клянусь, как нищий царь.

Я больше мертвецов о смерти знаю,
Я из живого самое живое.
И — боже мой! — какой-то мотылек,
Как девочка, смеется надо мною,
Как золотого шелка лоскуток.

1958

МАЛЮТКА-ЖИЗНЬ

Я жизнь люблю и умереть боюсь.
Взглянули бы, как я под током бьюсь
И гнусь, как язь в руках у рыбакова,
Когда я перевоплощаюсь в слово.

Но я не рыба и не рыболов.
И я из обитателей углов,
Похожий на Раскольниковца с виду.
Как скрипку, я держу свою обиду.

Терзай меня — не изменюсь в лице.
Жизнь хороша, особенно в конце,
Хоть под дождем и без гроша в кармане,
Хоть в Судный день — с иголкою в гортани.

А! Этот сон! Малютка-жизнь, дыши,
Возьми мои последние гроши,
Не отпускай меня вниз головою
В пространство мировое, шаровое!

1958

ГОЛУБИ

Семь голубей — семь дней недели
Склевали корм и улетели,
На смену этим голубям
Другие прилетают к нам.

Живем, считаем по семерке,
В последней стае только пять,
И наши старые задворки
На небо жалко променять:

Тут наши сизари воркуют,
По кругу ходят и жалкуют,
Асфальт крупитчатый клюют
И на поминках дождик пьют.

1958

ДЕРЕВЬЯ

I

Чем глуше крови страстный ропот
И верный кров тебе нужней,
Тем больше ценишь трезвый опыт
Спокойной зрелости своей.

Оплакав молодые годы,
Молочный брат листвы и трав,
Глядишься в зеркало природы,
В ее лице свое узнав.

И собеседник и ровесник
Деревьев полувековых,
Ищи себя не в ранних песнях,
А в росте и упорстве их.

Им тяжело собственное бремя,
Но с каждой новой весной
В их жесткой сердцевине время
За слоем отлагает слой.

И крепнет их живая сила,
Двоятся ветви их, деля
Тот груз, которым одарила
Своих питомцев мать-земля.

О чем скорбя, в разгаре мая
Вдоль исполинского ствола
На крону смотришь, понимая,
Что мысль взамену чувств пришла?

О том ли, что в твоих созвучьях
Отвердевает кровь твоя,
Как в терпеливых этих сучьях
Луч солнца и вода ручья?

II

Державы птичьей нищеты,
Ветров зеленые кочевья,
Ветвями ищут высоты
Слепорожденные деревья.

Зато, как воины стройны,
Очеловеченные нами,
Стоят и соединены
Земля и небо их стволами.

С их плеч, когда зима придет,
Слетит убранство золотое:
Пусть отдохнет лесной народ,
Накопит силы на покое.

А листья — пусть лежат они
Под снегом, ржавчина природы.
Сквозь щели сломанной брони
Живительные брызнут воды,

И двинется весенний сок,
И сквозь кору из черной раны
Побега молодого рог
Проглянет, нежный и багряный.

И вот уже в сквозной листве
Стоят округ земли прогретой
И света ищут в синеве
Еще, быть может, до рассвета.

Как будто горцы к нам пришли
С оружием своим старинным
На праздник матери-земли
И станом стали по низинам.

Созвучья струн волосяных
Налетом птичьим зазвучали,
И пляски ждут подруги их,
Держа в точеных пальцах шали.

Людская плоть в родстве с листвою,
И мы чем выше, тем упорней:
Древесные и наши корни
Живут порукой круговой.

1954

ДОМ НАПРОТИВ

Ломали старый деревянный дом.
Уехали жильцы со всем добром —

С диванами, кастрюлями, цветами,
Косыми зеркалами и котами.

Старик взглянул на дом с грузовика,
И время подхватило старика,

И все осталось навсегда, как было.
Но обнажились между тем стропила,

Забрезжила в проемах без стекла
Сухая пыль, и выступила мгла.

Остались в доме сны, воспоминанья,
Забывшие надежды и желанья.

Сруб разобрали, бревна увезли.
Но ни на шаг от милой им земли

Не отходили призраки былого
И про рябину песню пели снова,

На свадьбах пили белое вино,
Ходили на работу и в кино,

Гробы на полотенцах выносили,
И друг у друга денег в долг просили,

И спали парами в пуховиках,
И первенцев держали на руках,

Пока железная десна машины
Не выгрызла их шелудивой глины,

Пока над ними кран, как буква «Г»,
Не повернулся на одной ноге.

1958

РАННЯЯ ВЕСНА

Эй, в черном ситчике, неряха городская,
Ну, здравствуй, мать-весна! Ты вон теперь какая:
Расселась — ноги вниз — на Каменном мосту
И первых ласточек бросает в пустоту.

Девчонки-писанки с короткими носами,
Как на экваторе, толкутся под часами
В древнеегипетских ребристых башмаках,
С цветами желтыми в русалочьих руках.

Как не спешить туда взволнованным студентам,
Французам в дудочках, с владимирским акцентом,
Рабочим молодым, жрецам различных муз
И ловким служащим, бежавшим брачных уз?

Но дворник с номером косится исподлобья,
Пока троллейбусы проходят, как надгробья,
И я бегу в метро, где, у Москвы в плену,
Огромный базилевс залег во всю длину.

Там нет ни времени, ни смерти, ни апреля,
Там дышит ровное забвение без хмеля,
И ровное тепло подземных городов,
И ровный узкий свист летучих поездов.

1958

* * *

Над черно-сизой ямою
И жухлым снегом в яме
Заплакала душа моя
Прощальными слезами.

Со скрежетом подъемные
Ворочаются краны
И сыплют шлак в огромные
Расхристанные раны,

Губастые бульдозеры,
Дрожа по-человечьи,
Асфальтовое озеро
Гребут себе под плечи.

Безбровая, безбольная,
Еще в родильной глине,
Встает прямоугольная
Бетонная богиня.

Здесь будет сад с эстрадами
Для скрипок и кларнетов,
Цветной бассейн с наядами
И музы для поэтов.

А ты, душа-чердачница,
О чем затосковала?
Тебе ли, неудачница,
Твоей удачи мало?

Прощай, жите московское,
Где ты любить училась,
Петровско-Разумовское,
Прощайте, ваша милость!

Истцы, купцы, повытчики,
И что в вас было б толку,
Когда б не снег на ситчике,
Накинутом на челку.

Эх, маков цвет, мещанское
Житьишко за заставой!
Я по линейке странствую,
И правый и неправый.

1958

ЗАГАДКА С РАЗГАДКОЙ

Кто, еще прозрачный школьник,
Учит Музу чепухе
И торчит, как треугольник,
На шатучем лопухе?

Головастый внук Хирона,
Полувсадник-полуконь,
Кто из рук Анакреона
Вынул скачущий огонь?

Кто Державину докука,
Хлебникову брат и друг,
Взял из храма ультразвука
Золотой зубчатый лук?

Кто, коленчатый, зеленый
Царь, циркач или божок,
Для меня сберег каленый,
Норовистый их смычок?

Кто стрекочет, и пророчит,
И антеннами усов
Пятки времени щекочет,
Как пружинками часов?

Мой кузнечик, мой кузнечик,
Герб державы луговой!
Он и мне протянет глечик
С ионийскою водой.

1960

НА БЕРЕГУ

Он у реки сидел на камыше,
Накошенном крестьянами на крыши,
И тихо было там, а на душе
Еще того спокойнее и тише.
И сапоги он скинул. И когда
Он в воду ноги опустил, вода
Заговорила с ним, не понимая,
Что он не знает языка ее.
Он думал, что вода — глухонемая
И бессловесно сонных рыб жилье,
Что реют над водою коромысла
И ловят комаров или слепней,
Что хочешь мыться — мойся, хочешь — пей,
И что в воде другого нету смысла.

И вправду чуден был язык воды,
Рассказ какой-то про одно и то же,
На свет звезды, на беглый блеск слюды,
На предсказание беды похожий.
И что-то было в ней от детских лет,
От непривычки мерить жизнь годами
И от того, чему названья нет,
Что по ночам приходит перед снами,

От грозного, как в ранние года,
Растительного самоощущенья.

Вот какова была в тот день вода
И речь ее — без смысла и значенья.

1954

У ЛЕСНИКА

В лесу потерял я ружье,
Кусты разрывая плечами;
Глаза мне ночное зверье
Слепило своими свечами.

Лесник меня прячет в избе,
Сижу я за кружкой чая,
И кажется мне, что к себе
Попал я, по лесу блуждая.

Открыла мне память моя
Таинственный мир соответствий:
И кружка, и стол, и скамья
Такие же точно, как в детстве.

Такие же двери у нас
И стены такие же были.
А он продолжает рассказ,
Свои стародавние были.

Цигарку свернет и в окно
Моими посмотрит глазами.
— Пускай их свистят. Все равно.
У нас тут балуют ночами.

1960

ОДА

Мало мне воздуха, мало мне хлеба,
Льды, как сорочку, сорвать бы мне с плеч,
В горло вобрать бы лучистое небо,
Между двумя океанами лечь,
Под ноги лечь у тебя на дороге
Звездной песчинкою в звездный песок,
Чтоб над тобою крылатые боги
Перелетали с цветка на цветок.

Ты бы могла появиться и раньше
И приоткрыть мне твою высоту,
Раньше могли бы твои великанши
Книгу твою развернуть на лету,
Раньше могла бы ты новое имя
Мне подобрать на своем языке, —
Вспыхнуть бы мне под стопами твоими
И навсегда затеряться в песке.

1960

РУКОПИСЬ

А. А. Ахматовой

Я кончил книгу и поставил точку
И рукопись перечитать не мог.
Судьба моя сгорела между строк,
Пока душа меняла оболочку.

Так блудный сын срывает с плеч сорочку,
Так соль морей и пыль земных дорог
Благословляет и клянет пророк,
На ангелов ходивший в одиночку.

Я тот, кто жил во времена мои,
Но не был мной. Я младший из семьи
Людей и птиц, я пел со всеми вместе

И не покину пиршества живых —
Прямой гербовник их семейной чести,
Прямой словарь их связей корневых.

1960

ЗЕМЛЕ-ЗЕМНОЕ

1941-1966

I

СЛОВАРЬ

Я ветвь меньшая от ствола России,
Я плоть ее, и до листвы моей
Доходят жилы, влажные, стальные,
Льняные, кровяные, костяные,
Прямые продолжения корней.

Есть высоты властительная тяга,
И потому бессмертен я, пока
Течет по жилам — боль моя и благо —
Ключей подземных ледяная влага,
Все эР и эЛЬ святого языка.

Я призван к жизни кровью всех рождений
И всех смертей, я жил во времена,
Когда народа безымянный гений
Немую плоть предметов и явлений
Одушевлял, даруя имена.

Его словарь открыт во всю страницу,
От облаков до глубины земной. —
Разумной речи научить синицу
И лист единый заронить в криницу,
Зеленый, рдяный, ржавый, золотой...

1963

ДО СТИХОВ

Когда, еще спросонок, тело
Мне душу жгло и предо мной
Огнем вперед судьба летела
Неопалимой купиной, —

Свистели флейты ниоткуда,
Кричали у меня в ушах
Фанфары, и земного чуда
Ходила сетка на смычках,

И в каждом цвете, в каждом тоне
Из тысяч радуг и ладов
Окрестный мир стоял в короне
Своих морей и городов.

И странно: от всего живого
Я принял только свет и звук, —
Еще грядущее ни слова
Не заронило в этот круг...

1965

РИФМА

Не высоко я ставлю силу эту:
И зяблики поют. Но почему
С рифмовником бродить по белу свету
Наперекор стихиям и уму
Так хочется и в смертный час поэту?

И как ребенок «мама» говорит,
И мечется, и требует покрова,
Так и душа в мешок своих обид
Швыряет, как плотву, живое слово:
За жабры — хватать! и рифмами двоит.

Сказать по правде, мы — уста пространства
И времени, но прячется в стихах
Кошечкой считалки постоянство.
Всему свой срок: живет в пещере страх,
В созвучье — допотопное шаманство,

И, может быть, семь тысяч лет пройдет,
Пока поэт, как жрец, благоговейно,
Коперника в стихах перепоеет,
А там, глядишь, дойдет и до Эйнштейна.
И я умру, и тот поэт умрет,



Арсений Тарковский с братом Валерием. Елизаветград. 1912 г.

Мария Даниловна Рачковская, мать поэта. Елизаветград. Начало 1900-х гг.



А. Тарковский. Москва. Начало 1920-х гг.



**Мария Ивановна Вишнякова, первая жена А. А. Тарковского.
Флигель больницы в «Завражье». 1932 г. Фото Л. Горнунга.**



**Андрей Тарковский,
сын А. А. Тарковского.
Москва. 1938 г.
Фото Л. Горнунга.**



**Марина Тарковская,
дочь А. А. Тарковского.
Москва. Конец 1940-х гг.**



А. А. Тарковский на фронте. 1942 г.



А. А. Тарковский и А. Т. Твардовский на фронте. 1943 г.



А. А. Тарковский. 1945 г.

Т. А. Озерская. 1945 г.



Рисунок А. А. Тарковского из «Альбома кошачьих муз». Начало 1950-х гг.



А. А. Тарковский и Т. А. Озерская-Тарковская, Переделкино.
1978 г.



Рисунок А. А. Тарковского из «Альбома кошачьих муз». (Шуточный автопортрет.) Начало 1950-х гг.



А. А. Тарковский. Москва. 1967 г.



Арсению Шарковскому
поэту и другу

A

15 июня
1963
Москва

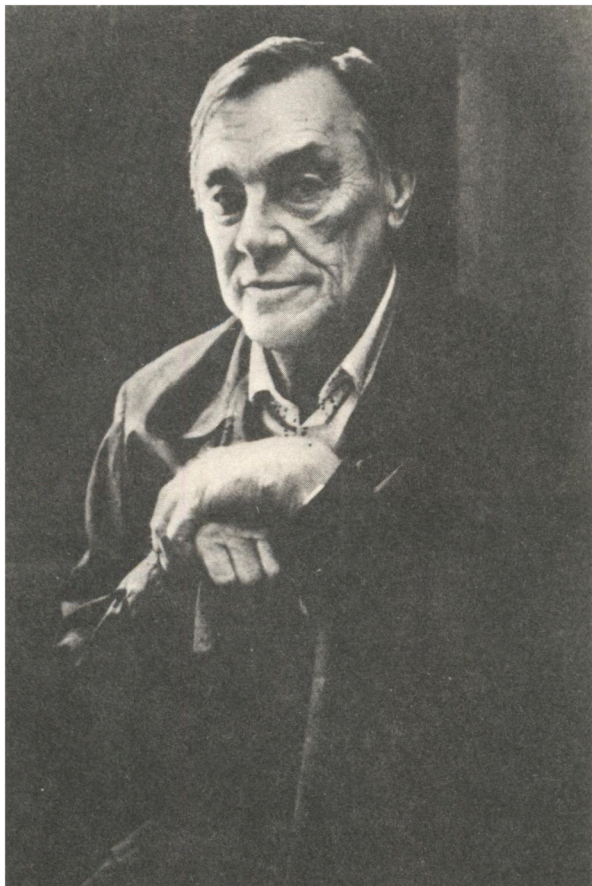
Фотография А. Ахматовой с дарственной надписью.
(Факсимиле А. Ахматовой на обороте фотографии.)



А. А. Тарковский с поэтами Александром Радковским, Ларисой Миллер, Михаилом Синельниковым. Переделкино. 1978 г.



Слева направо: Григорий Корин, Т. А. Озерская-Тарковская, А. А. Тарковский, Александр Лаврин, Марина Тарковская. Переделкино. 1983 г. Фото А. Кривомазова.



А. А. Тарковский. Москва. 1976 г. Фото В. Корнеева.

А. А. Тарковский и Андрей Вознесенский. Переделкино. 1984 г. Фото Ю. Феклистова.



А. А. Тарковский, Т. А. Озерская-Тарковская, Юрий Левитанский. Москва. Конец 70-х гг. Фото М. Пазия.



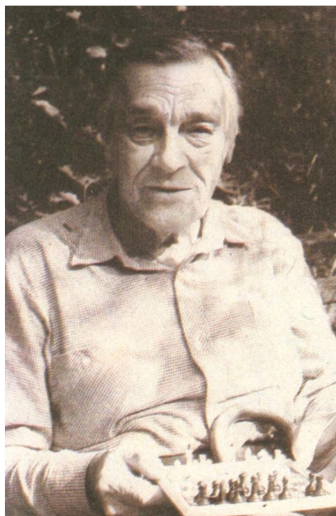
**А. А. Тарковский с внуком Арсением (слева) и сыном Андреем.
Москва. 1980 г.**



**Т. А. Озерская-Тарковская, А. А. Тарковский и кинорежиссер
В. Амирханян. Переделкино. Начало 1980-х гг.**



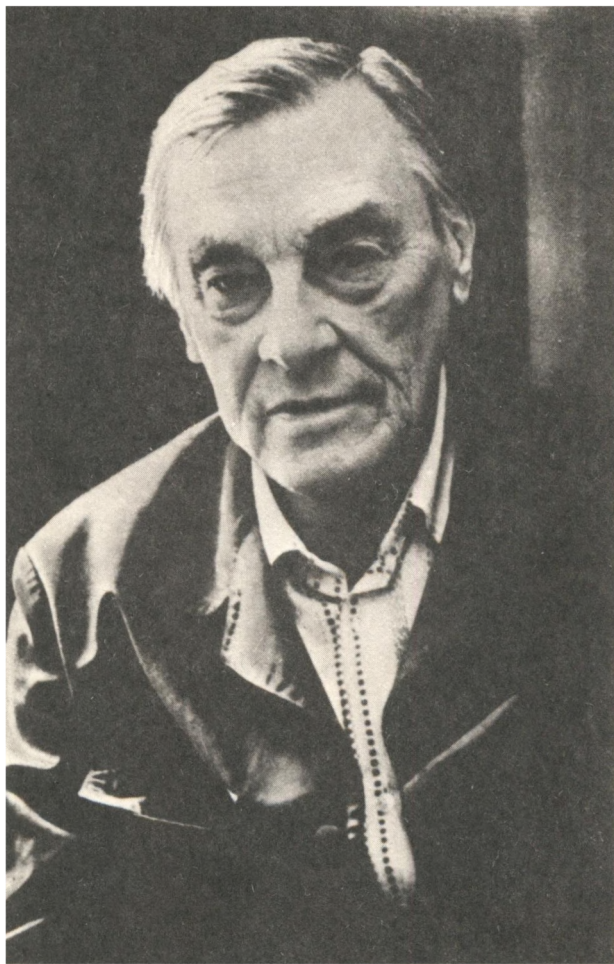
А. А. Тарковский. Москва. Конец 1970-х гг. Фото В. Табаевского.



**А. А. Тарковский.
Переделкино. 1983. Фото
А. Кривомазова.**



**А. А. Тарковский и Т. А. Озерская-Тарковская.
Москва. 1987 г. Фото Ю. Феклистова.**



А. А. Тарковский. 1984 г. Фото Ю. Феклистова.

Но в смертный час попросит вдохновенья,
Чтобы успеть стихи досочинить:
— Еще одно дыханье и мгновенье
Дай эту нить связать и раздвоить!
Ты помнишь рифмы влажное биенье?

1957

ПОЭТЫ

Мы звезды меняем на птичьи кларнеты
И флейты, пока еще живы поэты,
И флейты — на синие щетки цветов,
Трещотки стрекоз и кнуты пастухов.

Как странно подумать, что мы променяли
На рифмы, в которых так много печали,
На голос, в котором и присвист и жечь,
Свою корневую, подземную честь.

А вы нас любили, а вы нас хвалили,
Так что ж вы лежите могила к могиле
И молча плывете, в ладьях накреньясь,
Косарь, и псалтырщик, и плотничий князь?

1952

СТИХИ В ТЕТРАДЯХ

Мало ли на свете
Мне давно чужого, —
Не пред всем в ответе
Музыка и слово.

А напев случайный,
А стихи — на что мне?
Жить без глупой тайны
Легче и бездомней.

И какая малость
От нее осталась, —
Разве только жалость,
Чтобы сердце сжалось,

Да еще привычка
Говорить с собою,
Спор да перекличка
Памяти с судьбою...

1947

ЭСХИЛ

В обнимку с молодостью, второпях
Чурался я отцовского наследия
И не приметил, как в моих стихах
Свила гнездо Эсхилова трагедия.

Почти касаясь клюва и когтей,
Обманутый тысячелетней сказкою,
С огнем и я играл, как Прометей,
Пока не рухнул на́ гору кавказскую.

Гонца богов, мальчишку, холюя,
На крылышках снующего над сценою,
— Смотри, — молю, — вот кровь и кость моя,
Иди возьми что хочешь, хоть вселенную!

Никто из хора не спасет меня,
Не крикнет: «Смилуйся или добей его!»
И каждый стих, звучащий дольше дня,
Живет все той же казнью Прометеевой.

1959

КАМЕНЬ НА ПУТИ

Пророческая власть поэта
Бессильна там, где в свой рассказ
По странной прихоти сюжета
Судьба живьем вгоняет нас.

Вначале мы предполагаем
Какой-то взгляд со стороны
На то, что адом или раем
Считать для ясности должны,

Потом, кончая со стихами,
В последних четырех строках
Мы у себя в застенке сами
Себя свежем второпях.

Откуда наша власть? Откуда
Все тот же камень на пути?
Иль новый бог, творящий чудо,
Не может сам себя спасти?

1960

ПОЭТ

Жил на свете рыцарь бедный...

Эту книгу мне когда-то
В коридоре Госиздата
Подарил один поэт;
Книга порвана, измята,
И в живых поэта нет.

Говорили, что в обличье
У поэта нечто птичье
И египетское есть;
Было нищее величье
И задерганная честь.

Как боялся он пространства
Коридоров! Постоянства
Кредиторов! Он, как дар,
В диком приступе жеманства
Принимал свой гонорар.

Так елозит по экрану
С реверансами, как спьяну,
Старый клоун в котелке
И, как трезвый, прячет рану
Под жилеткой из пике.

Оперенный рифмой парной,
Кончен подвиг календарный, —
Добрый путь тебе, прощай!
Здравствуй, праздник гонорарный,
Черный белый каравай!

Гнутым словом забавлялся,
Птичьим клювом улыбался,
Встречных с лету брал в зажим,
Одиночества боялся
И стихи читал чужим.

Так и надо жить поэту.
Я и сам спую по свету,
Одиночества боюсь,
В сотый раз за книгу эту
В одиночестве берусь.

Там в стихах пейзажей мало,
Только бестолочь вокзала
И театра кутерьма,
Только люди как попало,
Рынок, очередь, тюрьма.

Жизнь, должно быть, наболтала,
Наплела судьба сама.

1963

ПАМЯТИ М. И. ЦВЕТАЕВОЙ

I. ИЗ СТАРОЙ ТЕТРАДИ

Все наяву связалось — воздух самый
Вокруг тебя до самых звезд твоих,
И поясок, и каждый твой упрямый
Упругий шаг, и угловатый стих.

Ты — не отпущенная на поруки,
Вольна гореть и расточать вольна,
Подумай только: не было разлуки,
Смыкаются, как воды, времена.

На радость — руку, на печаль, на годы!
Смеженных крыл не размыкай опять:
Тебе подвластны гибельные воды,
Не надо снова их разъединять.

1939

II. СТИРКА БЕЛЬЯ

Марина стирает белье.
В гордыне шипучую пену
Рабочие руки ее
Швыряют на голую стену.

Белье выжимает. Окно —
На улицу настезь, и платье
Развешивает.

Все равно,
Пусть видят и это распятье.

Гудит самолет за окном,
По тазу расходится пена,
Впервой надрывается днем
Воздушной тревоги сирена.

От серого платья в окне
Темнеют четыре аршина
До двери.

Как в речке на дне —
В зеленых потемках Марина.

Два месяца ровно со лба
Отбрасывать пряди упрямо,
А дальше хозяйка — судьба,
И переупрямит над Камой...

1963

III

Друзья, правдолюбцы, хозяева
Продутых смертями времен,
Что вам прочитала Цветаева,
Придя со своих похорон?

Присыпаны глиною волосы,
И глины желтее рука,
И стало так тихо, что голоса
Не слышал я издалека.

Быть может, его назначение
Лишь в том, чтобы, встав на носки,
Без роздыха взять ударение
На горке нечетной строки.

Какие над Камой последние
Слова ей на память пришли
В ту горькую, все еще летнюю,
Горячую пору земли,

Солдат на войну провожающей
И вдóвой, как рóдная мать,
Земли, у которой была еще
Повадка чужих не ласкать?

Всем клином, всей вашей державою
Вы там, за последней чертой —
Со всей вашей правдой неправую
И праведной неправотой.

[1962]

IV

Я слышу, я не сплю, зовешь меня, Марина,
Поешь, Марина, мне, крылом грозишь, Мари́на,
Как трубы ангелов над городом поют,
И только горечью своей неисцелимой
Наш хлеб отравленный возьмешь на Страшный суд,
Как брали прах родной у стен Иерусалима
Изгнанники, когда псалмы слагал Давид
И враг шатры свои раскинул на Сионе.
А у меня в ушах твой смертный зов стоит,
За черным облаком твое крыло горит
Огнем пророческим на диком небосклоне,

[1946]

Не первородству, —
я отдам
Свое, чтобы тебе по праву
На лишний день вручили там,
В земле, — твою земную славу, —

Не дерзости твоих страстей
И не тому, что все едино,
А только памяти твоей
Из гроба научи, Марина!

Как я боюсь тебя забыть
И променять в одно мгновенье
Прямую фосфорную нить
На удвоенье, утроенье
Рифм —
и в твоём стихотворенье
Тебя опять похоронить.

1963

КОМИТАС

Ничего душа не хочет
И, не открывая глаз,
В небо смотрит и бормочет,
Как безумный, Комитас.

Медленно идут светила
По спирали в вышине,
Будто их заговорила
Сила, спящая во мне.

Вся в крови моя рубаха,
Потому что и меня
Обдувает ветром страха
Стародавняя резня.

И опять Айя-Софии
Камень ходит предо мной,
И земля ступни босые
Обжигает мне золой.

Лазарь вышел из гробницы,
А ему и дела нет,
Что летит в его глазницы
Белый яблоневый цвет.

До утра в гортани воздух
Шелушится, как слюда,
И стоит в багровых звездах
Кривда Страшного суда.

1959

СТЕПНАЯ ДУДКА

I

Жили, воевали, голодали,
Умирили врозь, по одному.
Я не живописец, мне детали
Ни к чему, я лучше соль возьму.

Из всего земного ширпотреба
Только дудку мне и принесли:
Мало взял я у земли для неба,
Больше взял у неба для земли.

Я из шапки вытряхнул светила,
Выпустил я птиц из рукава.
Обо мне земля давно забыла,
Хоть моим рифмовником жива.

II

На каждый звук есть эхо на земле.
У пастухов кипел кулеш в котле,
Почесывались овцы рядом с нами
И черными стучали башмачками.

Что деньги мне? Что мне почет и честь
В степи вечерней без конца и края?
С Овидием хочу я брынзу есть
И горевать на берегу Дуная,
Не различать далеких голосов,
Не ждать благословенных парусов.

III

Где вьюгу на латынь
Переводил Овидий,
Я пил степную синь
И суп варил из мидий.

И мне огнем беды
Дуду насквозь продуло,
И потому лады
Поют, как Мариула,

И потому семья
У нас не без уroda
И хороша моя
Дунайская свобода.

Где грел он в холода
Лепешку на ладони,
Там южная звезда
Стоит на небосклоне.

IV

Земля неплодородная, степная,
Горючая, но в ней для сердца есть
Кузнечика скрипица костяная
И кесарем униженная честь.

А где мое грядущее? Бог весть.
Изгнание чужое вспоминая,
С Овидием и я за дестью десть
Листал тетрадь на берегу Дуная.

За желть и жёлчь любил я этот край
И говорил: — Кузнечик мой, играй! —
И говорил: — Семь лет пути до Рима!

Теперь мне и до степи далеко.
Живи хоть ты, глоток сухого дыма,
Шалаш, кожух, овечье молоко.

1960—1964

ПОЗДНЯЯ ЗРЕЛОСТЬ

Не для того ли мне поздняя зрелость,
Чтобы, за сердце схватившись, оплакать
Каждого слова сентябрьскую спелость,
Яблока тяжесть, шиповника мякоть,

Над лесосекой тянувшийся порох,
Сухость брусничной поляны, и ради
Правды — вернуться к стихам, от которых
Только помарки остались в тетради.

Все, что собрали, сложили в корзины,
И на мосту прогремела телега.
Дай мне еще наклониться с вершины,
Дай удержаться до первого снега.

1965

ЯВЬ И РЕЧЬ

Как зрение — сетчатке, голос — горлу,
Число — рассудку, ранний трепет — сердцу,
Я клятву дал вернуть мое искусство
Его животворящему началу.

Я гнул его, как лук, я тетивой
Душил его — и клятвой пренебрег.

Не я словарь по слову составлял,
А он меня творил из красной глины;
Не я пять чувств, как пятерню Фома,
Вложил в зияющую рану мира,
А рана мира облегла меня,
И жизнь жива помимо нашей воли.

Зачем учил я посох прямизне,
Лук — кривизне и птицу — птичьей роще?
Две кисти рук, вы на одной струне,
О явь и речь, зрачки расширьте мне,
И причастите вашей царской мощи,

И дайте мне остаться в стороне
Свидетелем свободного полета
Воздвигнутого чудом корабля,
О, два крыла; две лопасти оплота,
Надежного, как воздух и земля!

1965

II

НАДПИСЬ НА КНИГЕ

...Как волна на волну набегает,
Гонит волну пред собой, нагоняема сзади волною,
Так же бегут и часы...

О в и д и й. Метаморфозы, XV
(перевод С. Шервинского)

Ты ангел и дитя, ты первая страница,
Ты катишь колесо прибой пред собой —
Волну вослед волне, и гонишь, как прибой,
За часом новый час — часы, как часовщица.

И все, что бодрствует, и все, что спит и снится,
Слетается на пир зелено-голубой.
А я клянусь тебе, что княжил над судьбой,
И хоть поэтому ты не могла не сбыться.

Я под твоей рукой, а под рукой моей
Земля семи цветов и синь семи морей,
И суток лучший час, и лучший месяц года,

И лучшая пора бессонниц и забот —
Спугнет тебя иль нет в час твоего прихода
Касатки головокружительный полет.

1964

ПЕСНЯ

Давно мои ранние годы прошли
По самому краю,
По самому краю родимой земли,
По скошенной мяте, по синему раю,
И я этот рай навсегда потеряю.

Колышется ива на том берегу,
Как белые руки.
Пройти до конца по мосту не могу,
Но лучшего имени влажные звуки
На память я взял при последней разлуке.

Стоит у излуки
И моет в воде свои белые руки,
А я перед ней в неоплатном долгу.
Сказал бы я, кто на поемном лугу,
На том берегу,
За ивой стоит, как русалка над речкой,
И с пальца на палец бросает колечко.

1960

ВЕТЕР

Душа моя затосковала ночью.

А я любил изорванную в клочья,
Исхлестанную ветром темноту
И звезды, брезжущие на лету
Над мокрыми сентябрьскими садами,
Как бабочки с незрячими глазами,
И на цыганской масляной реке
Шатучий мост, и женщину в платке,
Спадавшем с плеч над медленной водою,
И эти руки, как перед бедою.

И кажется, она была жива,
Жива, как прежде, но ее слова
Из влажных «Л» теперь не означали
Ни счастья, ни желаний, ни печали,
И больше мысль не связывала их,
Как повелось на свете у живых.

Слова горели, как под ветром свечи,
И гасли, словно ей легло на плечи
Все горе всех времен. Мы рядом шли,
Но этой горькой, как полынь, земли
Она уже стопами не касалась
И мне живую больше не казалась.

ПЕРВЫЕ СВИДАНИЯ

Свиданий наших каждое мгновенье,
Мы праздновали, как богоявление,
Одни на целом свете. Ты была
Смелей и легче птичьего крыла,
По лестнице, как головокруженье,
Через ступень сбегала и вела
Сквозь влажную сирень в свои владенья
С той стороны зеркального стекла.

Когда настала ночь, была мне милость
Дарована, алтарные врата
Отворены, и в темноте светилась
И медленно клонилась нагота,
И, просыпаясь: «Будь благословенна!» —
Я говорил и знал, что дерзновенно
Мое благословенье: ты спала,
И тронуть веки синевой вселенной
К тебе сирень тянулась со стола,
И синевую тронутые веки
Спокойны были, и рука тепла.

А в хрустале пульсировали реки,
Дымились горы, брезжили моря,
И ты держала сферу на ладони

Хрустальную, и ты спала на троне,
И — боже правый! — ты была моя.
Ты пробудилась и преобразила
Вседневный человеческий словарь,
И речь по горло полнозвучной силой
Наполнилась, и слово *ты* раскрыло
Свой новый смысл и означало: *царь*.

На свете все преобразилось, даже
Простые вещи — таз, кувшин, — когда
Стояла между нами, как на страже,
Слоистая и твердая вода.

Нас повело неведомо куда.
Пред нами расступались, как миражи,
Построенные чудом города,
Сама ложилась мята нам под ноги,
И птицам с нами было по дороге,
И рыбы подымались по реке,
И небо развернулось пред глазами...

Когда судьба по следу шла за нами,
Как сумасшедший с бритвою в руке.

1962

ПОД ПРЯМЫМ УГЛОМ

Мы — только под прямым углом,
Наперекор один другому,
Как будто не привыкли к дому
И в разных плоскостях живем,

Друг друга потеряли в давке
И порознь вышли с двух сторон
И бережно несем, как сон,
Оконное стекло из лавки.

Мы отражаем всё и вся
И понимаем с полуслова,
Но только не один другого,
Жизнь, как стекло, в руках неся.

Пока мы время тратим, споря
На двух враждебных языках,
По стенам катятся впотьмах
Колеса радуг в коридоре.

1960

ТЕМНЕЕТ

Какое счастье у меня украли!
Когда бы ты пришла в тот страшный год,
В орлянку бы тебя не проиграли,
Души бы не пустили в оборот.

Мне девочка с венгерскою шарманкой
Поет с надрасной хрипотой о том,
Как вывернуло время вверх изнанкой
Твою судьбу под проливным дождем,

И старческой рукою моет стекла
Сентябрьский ветер, и уходит прочь,
И челка у шарманщицы намокла,
И вот уже у нас в предместье — ночь.

1958

ЭВРИДИКА

У человека тело
Одно, как одиночка.
Душе осточертела
Сплошная оболочка
С ушами и глазами
Величиной в пятак
И кожей — шрам на шраме,
Надетой на костяк.

Летит сквозь роговицу
В небесную криницу,
На ледяную спицу,
На птичью колесницу
И слышит сквозь решетку
Живой тюрьмы своей
Лесов и нив трещотку,
Трубу семи морей.

Душе грешно без тела,
Как телу без сорочки, —
Ни помысла, ни дела,
Ни замысла, ни строчки.
Загадка без разгадки:
Кто возвратится вспять,

Сплясав на той площадке,
Где некому плясать?

И снится мне другая
Душа, в другой одежде:
Горит, перебегая
От робости к надежде,
Огнем, как спирт, без тени
Уходит по земле,
На память гроздь сирени
Оставив на столе.

Дитя, беги, не сетуй
Над Эвридикой бедной
И палочкой по свету
Гони свой обруч медный,
Пока хоть в четверть слуха
В ответ на каждый шаг
И весело и сухо
Земля шумит в ушах.

1961

НОЧЬ ПОД ПЕРВОЕ ИЮНЯ

Пока еще последние колена
Последних соловьев не отгремели
И смутно брезжит у твоей постели
Боярышника розовая пена,

Пока ложится железнодорожный
Мост, как самоубийца, под колеса
И жизнь моя над черной рябью плеса
Летит стремглав дорогой непреложной,

Спи, как на сцене, на своей поляне,
Спи, — эта ночь твоей любви короче, —
Спи в сказке для детей, в ячейке ночи,
Без имени в лесу воспоминаний.

Так вот когда я стал самим собою,
И что ни день — мне новый день дороже,
Но что ни ночь — пристрастнее и строже
Мой суд нетерпеливый над судьбою...

1965

III

ВЕСЕННЯЯ ПИКОВАЯ ДАМА

Зимний Германн поставил
Жизнь на карту свою, —
Мы играем без правил,
Как в неравном бою.

Тридцать первого марта
Карты сами сдаем.
Снега черная карта
Бита красным тузом.

Германн дернул за ворот
И крючки оборвал,
И свалился на город
Воробьиный обвал,

И ножи конькобежец
Зашвырнул под кровать,
Начал лед-громовержец
На реке баловать.

Охмелев от азарта,
Мечет масти квартал,
А игральные карты
Сроду в руки не брал.

1964

ФОНАРИ

Мне запомнится таянье снега
Этой горькой и ранней весной,
Пьяный ветер, хлеставший с разбега
По лицу ледяною крупой,
Беспокойная близость природы,
Разорвавшей свой белый покров,
И косматые шумные воды
Под железом угрюмых мостов.

Что вы значили, что предвещали,
Фонари под холодным дождем,
И на город какие печали
Вы наслали в безумье своем,
И какую тревогою ранен,
И обидой какой уязвлен
Из-за ваших огней горожанин,
И о чем сокрушается он?

А быть может, он вместе со мною
Исполняется той же тоски
И следит за свинцовой волною,
Под мостом обходящей быки?

И его, как меня, обманули
Вам подвластные тайные сны,
Чтобы легче нам было в июле
Отказаться от черной весны.

1951

ШИПОВНИК

Т. О.-Т.

Я завещаю вам шиповник,
Весь полный света, как фонарь,
Июньских бабочек письмовник,
Задворков праздничный словарь.

Едва калитку отворяли,
В его корзине сам собой,
Как струны в запертом рояле,
Гудел и звякал разнобой.

Там, по ступеням светотени,
Прямыми крыльями стуча,
Сновала радуга видений
И вдоль и поперек луча.

Был очевиден и понятен
Пространства замкнутого шар —
Сплетенье линий, лепет пятен,
Мельканье брачующихся пар.

1962

ИЗ ОКНА

Наверчены звездные линии
На северном полюсе мира,
И прямоугольная, синяя
В окно мое вдвинута лира.

А ниже — бульвары и здания
В кристальном скрипичном напеве, —
Как будущее, как сказание,
Как Будда у матери в чреве.

1958

* * *

Мне опостытели слова, слова, слова,
Я больше не могу превозносить права
На речь разумную, когда всю ночь о крышу
В отрепьях, как вдова, колотится листва.
Оказывается, я просто плохо слышу
И неразборчива ночная речь вдовства.
Меж нами есть родство. Меж нами нет родства.
И если я твержу деревьям сумасшедшим,
Что у меня в росе по локоть рукава,
То, кроме стога, им уже ответить нечем.

[1963]

ТЕЛЕЦ, ОРИОН, БОЛЬШОЙ ПЕС

Могучая архитектура ночи!
Рабочий ангел купол повернул,
Вращающийся на древесных кронах,
И обозначились между стволами
Проемы черные, как в старой церкви,
Забытой богом и людьми.

Но там
Взошли мои алмазные Плеяды.
Семь струн привязывает к ним Сапфо
И говорит:

«Взошли мои Плеяды,
А я одна в постели, я одна.
Одна в постели!»

Ниже и левей
В горячем персиковом блеске встали,
Как жертва у престола, золотые
Рога Тельца

и глаз его, горящий
Среди Гиад,
как Ветхого завета
Еще одна скрижаль.

Проходит время,
Но — что мне время?

Я терпелив,
я подождать могу,
Пока взойдет за жертвенным Тельцом
Немыслимое чудо Ориона,
Как бабочка безумная, с купелью
В своих скрипучих проволочных
лапках,
Где были крещены Земля и Солнце.

Я подожду,
пока в лучах стеклянных
Сам Сириус —
с египетской, загробной,
собачьей головой —
Взойдет.

Мне раз еще увидеть суждено
Сверкающее это полотенце,
Божественную перемычку счастья,
И что бы люди там ни говорили —
Я доживу, переберу позвездно,
Пересчитаю их по каталогу,
Перечитаю их по книге ночи.

1958

СНЕЖНАЯ НОЧЬ В ВЕНЕ

Ты безумна, Изора, безумна и зла,
Ты кому подарила свой перстень с отравой
И за дверью трактирной тихонько ждала:
Моцарт, пей, не тужи, смерть в союзе со славой.

Ах, Изора, глаза у тебя хороши
И черней твоей черной и горькой души.
Смерть позорна, как страсть. Подожди, уже скоро,
Ничего, он сейчас задохнется, Изора.

Так лети же, снегов не касаясь стопой:
Есть кому еще уши залить глухотой
И глаза слепотой, есть еще голодуха,
Госпитальный фонарь и сиделка-старуха.

1960

ЗИМОЙ

Куда ведет меня подруга —
Моя судьба, моя судьба?
Бредем, теряя кромку круга
И спотыкаясь о гроба.

Не видно месяца над нами,
В сугробах вязнут костыли,
И души белыми глазами
Глядят вослед поверх земли.

Ты помнишь ли, скажи, старуха,
Как проходили мы с тобой
Под этой каменной стеной
Зимой студенной, в час ночной,
Давным-давно, и так же глухо,
Вполголоса и в четверть слуха,
Гудело эхо за спиной?

1958

КОНЕЦ НАВИГАЦИИ

В затонах остывают пароходы,
Чернильные загустевают воды,
Свинцовая темнеет белизна,
И если впрямь земля болеет нами,
То стала выздоравливать она —
Такие звезды блещут над снегами,
Такая наступила тишина,
И вот уже из ледяного плена
Едва звучит последняя сирена.

1957

НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ

Я не буду спать
Ночью новогодней,
Новую тетрадь
Я начну сегодня.

Ради смысла дат
И преображенья
С головы до пят
В плоть стихотворенья —

Год переберу,
Месяцы по строчке
Передам перу
До последней точки.

Где оно — во мне
Или за дверями,
В яви или сне
За семью морями,

В пляске по снегам
Белой круговерти, —
Я не знаю сам,
В чем мое бессмертье,

Но из декабря
Брошусь к вам, живущим
Вне календаря,
Наравне с грядущим.

О, когда бы рук
Мне достало на год
Кончить новый круг!
Строчки сами лягут...

1965

IV

МАЛИНОВКА

Душа и не глядит
на рифму конопляную,
Сидит, не чистит перышек,
не продувает горла:
Бывало, мол, и я
певала над поляною,
Сегодня, мол, не в голосе,
в зобу дыханье сперло.

Пускай душа чуть-чуть
распустится и сдвинется,
Хоть на пятнадцать градусов,
и этого довольно,
Чтобы вовсю пошла
свистать, как именинница,
И стало ей, малиновке,
и весело и больно.

Словарь у нас простой,
созвучья — из пословицы.
Попробуйте подставьте ей
сиреневую ветку,
Она с любым из вас
пошутит и условится
И с собственной тетрадкой
пойдет послушно в клетку.

1957

ЖИЗНЬ, ЖИЗНЬ

1

Предчувствиям не верю, и примет
Я не боюсь. Ни клеветы, ни яда
Я не бегу. На свете смерти нет.
Бессмертны все. Бессмертно всё. Не надо
Бояться смерти ни в семнадцать лет,
Ни в семьдесят. Есть только явь и свет,
Ни тьмы, ни смерти нет на этом свете.
Мы все уже на берегу морском,
И я из тех, кто выбирает сети,
Когда идет бессмертье косяком.

2

Живите в доме — и не рухнет дом.
Я вызову любое из столетий,
Войду в него и дом построю в нем.
Вот почему со мною ваши дети
И жены ваши за одним столом, —
А стол один и прадеду и внуку:
Грядущее свершается сейчас,
И если я приподымаю руку,

Все пять лучей останутся у вас.
Я каждый день минувшего, как крепью,
Ключицами своими подпирал,
Измерил время землемерной цепью
И сквозь него прошел, как сквозь Урал.

3

Я век себе по росту подбирал.
Мы шли на юг, держали пыль над степью;
Бурьян чадил; кузнечик баловал,
Подковы трогал усом, и пророчил,
И гибелью грозил мне, как монах.
Судьбу свою к седлу я приторочил;
Я и сейчас, в грядущих временах,
Как мальчик, привстаю на стремях.

Мне моего бессмертия довольно,
Чтоб кровь моя из века в век текла.
За верный угол ровного тепла
Я жизнью заплатил бы своевольно,
Когда б ее летучая игла
Меня, как нить, по свету не вела.

1965

СНЫ

Садится ночь на подоконник,
Очки волшебные надев,
И длинный вавилонский сонник,
Как жрец, читает нараспев.

Уходят вверх ее ступени,
Но нет перил над пустотой,
Где судят тени, как на сцене,
Иноязычный разум твой.

Ни смысла, ни числа, ни меры.
А судьи кто? И в чем твой грех?
Мы вышли из одной пещеры,
И клинопись одна на всех.

Явь от потопа до Эвклида
Мы досмотреть обречены.
Отдай — что взял; что видел — выдай!
Тебя зовут твои сыны.

И ты на чьем-нибудь пороге
Найдешь когда-нибудь приют,

Пока быки бредут, как боги,
Боками трутся на дороге
И жвачку времени жуют.

1962

ПЕТРОВСКИЕ КАЗНИ

Передо мною плаха
На площади встает,
Червонная рубаха
Забиться не дает.

По лугу волю славить
С косой идет косарь.
Идет Москву кровавить
Московский государь.

Стрельцы, гасите свечи!
Вам, косарям, вора́м,
Ломать крутые плечи
Идет последний срам.

У, буркалы Петровы,
Навыкате белки!
Холстинные обновы.
Сынки мои, сынки!

1958

И сейчас оборвут провода.
Но скорее они — кредиторы
И пришли навсегда, навсегда,
И счета принесли.

Невозможно
Воду в ступе, не спавши, толочь,
Невозможно заснуть, — так
тревожна
Для покоя нам данная ночь.

1958

НОЧНАЯ РАБОТА

Свет зажгу, на чернильные пятна
Погляжу и присяду к столу, —
Пусть поет, как сверчок непонятно,
Электрический счетчик в углу.

Пусть голодные мыши скребутся,
Словно шастать им некогда днем,
И часы надо мною смеются
На дотошном наречье своем, —

Я возьмусь за работу ночную,
И пускай их до белого дня
Обнимаются напропалую,
Пьют вино, кто моложе меня.

Что мне в том? Непочатая глыба,
На два века труда предо мной.
Может, кто-нибудь скажет спасибо
За постылый мой подвиг ночной.

1946

ОЛИВЫ

Марине Т.

Дорога ведет под обрыв,
Где стала трава на колени
И призраки диких олив,
На камни рога положив,
Застыли, как стадо оленей.
Мне странно, что я еще жив
Средь стольких могил и видений.

Я сторож вечерних часов
И серой листвы надо мною.
Осеннее небо мой кров.
Не помню я собственных снов
И слез твоих поздних не стою.
Давно у меня за спиною
В камнях затерялся твой зов.

А где-то судьба моя прячет
Ключи у степного костра,
И спутник ее до утра
В багровой рубахе маячит.
Ключи она прячет и плачет
О том, что ей песня сестра
И в путь собираться пора.

Седые оливы, рога мне
Кладите на плечи теперь,
Кладите рога, как на камни:
Святой колыбелью была мне
Земля похорон и потерь.

1958

КНИГА ТРАВЫ

О нет, я не город с кремлем над рекой,
Я разве что герб городской.

Не герб городской, а звезда над щитком
На этом гербе городском.

Не гостья небесная в черни воды,
Я разве что имя звезды.

Не голос, не платье на том берегу,
Я только светиться могу.

Не луч световой у тебя за спиной,
Я — дом, разоренный войной.

Не дом на высоком валу крепостном,
Я — память о доме твоём.

Не друг твой, судьбою ниспосланный друг,
Я — выстрела дальнего звук.

В приморскую степь я тебя уведу,
На влажную землю паду,

И стану я книгой младенческих трав,
К родимому лону припав.

1945

ДОРОГА

Н. Л. Степанову

Я врѣзался в возраст учета
Не сдавшихся возрасту прав,
Как в город из-за поворота
Железнодорожный состав.

Еще я в дымящихся звездах
И чертополохе степей,
И жаркой воронкою воздух
Стекает по коже моей.

Когда отдышаться сначала
Не даст мне мое божество,
Я так отойду от вокзала
Уже без себя самого —

Пойду под уклон за подмогой,
Прямую сгибая в дугу, —
И кто я пред этой дорогой?
И чем похвалиться могу?

1964

МЩЕНИЕ АХИЛЛА

Фиолетовой от зноя,
Остывающей рукой
Рану смертную потрогал
Умирающий Патрокл,

И последнее, что слышал, —
Запредельный вой тетив,
И последнее, что видел, —
Пальцы склеивает кровь.

Мертв лежит он в чистом поле,
И Ахилл не пьет, не ест,
И пока ломает руки,
Щит кует ему Гефест.

Равнодушно пьют герои
Хмель времен и хмель могил,
Мчит вокруг горящей Трои
Тело Гектора Ахилл.

Пожалел Ахилл Приама,
И несет старик Приам
Мимо дома, мимо храма
Жертву мстительным богам.

Не Ахилл разрушит Трою,
И его лучистый щит
Справедливую рукою
Новый мститель сокрушит.

И еще на город ляжет
Семь пластов сухой земли,
И стоит Ахилл по плечи
В щебне, прахе и золе.

Так не дай пролить мне крови,
Чистой, грешной, дорогой,
Чтобы клейкой красной глины
В смертный час не мять рукой.

1965

ГРАММОФОННАЯ ПЛАСТИНКА

I

Июнь, июль, пройди по рынку,
Найди в палатке бой и лом
И граммофонную пластинку
Прогрей пожарче за стеклом,

В трубу немую и кривую
Пластмассу черную сверни,
Расплавь дорожку звуковую
И время дай остыть в тени.

Поостеречься бы, да поздно:
Я тоже под иглой пою
И все подряд раздам позвездно,
Что в кожу врезано мою.

II

Я не пойду на первое свиданье,
Ни в чем не стану подражать Монтану,
Не зарыдаю гулко, как Шаляпин.

Сказать — скажу: я полужил и полу — казалось — жил,
и сам себя прошляпил.

Уймите, ради бога, радиолу!

1957—1963

V

СКАЗКИ И РАССКАЗЫ

КУЗНЕЧИКИ

I

Тикают ходики, ветер горячий
В полдень снует челноком по Москве,
Люди бегут к поездам, а на даче
Пляшут кузнечики в желтой траве.

Кто не видал, как сухую солому
Пилит кузнечик стальным терпугом?
С каждой минутой по новому дому
Спичечный город растет за бугром.

Если бы мог я прийти на субботник,
С ними бы стал городить городок,
Я бы им строил, бетонщик и плотник,
Каменщик, я бы им камень толлок.

Я бы точил топоры — я точильщик,
Я бы ковать им помог — я кузнец,
Кровельщик я, и стекольщик, и пильщик.
Я бы им песню пропел, наконец.

II

Кузнечик на лугу стрекочет
В своей защитной плащ-палатке,
Не то кует, не то пророчит,
Не то свой луг разрезать хочет
На трехвершковые площадки,
Не то он лугового бога
На языке зеленом просит:
— Дай мне пожить еще немного,
Пока травы коса не косит!

1935—1946

ДВЕ ЛУННЫЕ СКАЗКИ

1. ЛУНА В ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕТВЕРТИ

В последней четверти луна
Не понапрасну мне видна.
И желтовата и красна
В последней четверти луна,
И беспокойна и смутна:
Земле принадлежит она.

Смотрю в окно и узнаю
В луне земную жизнь мою,
И в смутном свете узнаю
Слова, что на земле пою,
И как на черепке стою,
На срезанном ее краю.

А что мне видно из окна?
За крыши прячется луна,
И потому, как дым, смутна,
Что на ущерб идет она,
И потому, что так темна,
Влюбленным нравится луна.

II. ЛУНА И КОТЫ

Прорвав насквозь лимонно-серый
Опасный конус высоты,
На лунных крышах, как химеры,
Вопят гундосые коты.

Из желобов ночное эхо
Выталкивает на асфальт
Их мекфистофельского смеха
Коленчатый и хриплый альт.

И в это дикое искусство
Влагает житель городской
Свои предчувствия и чувства
С оттенком зависти мужской.

Он верит, что в природе ночи
И тьмы лоскут, и сна глоток,
Что ночь — его чернорабочий.

А сам глядит на лунный рог,
Где сходятся, как в средоточье,
Котов египетские очи,
И пьет бессонницы белок.

1946—1959

ТЕЛЕФОНЫ

Номера — имена телефонов
Постигаются сразу, когда
Каждой вести пугаешься, тронув
Змеевидные их провода.

Десять букв алфавита без смысла,
Десять цифр из реестра судьбы
Сочетаются в странные числа
И года громоздят на горбы.

Их щемящему ритму покорный,
Начинаешь цвета различать,
Может статься, зеленый и черный —
В-1-27-45.

И по номеру можно дознаться,
Кто стоит на другой стороне,
Если взять телефонные святцы
И разгадку найти, как во сне,

И особенно позднею ночью
В час, когда по ошибке звонят,
Можно челюсть увидеть воочью,
Подбирая число наугад.

1957

СЕРЕБРЯНЫЕ РУКИ

Девочка Серебряные Руки
Заблудилась под вечер в лесу.
В ста шагах разбойники от скуки
Свистом держат птицу на весу.

Кони спотыкаются лихие,
Как бутылки, хлопает стрельба,
Птичьи гнезда и сучки сухие
Обирает поверху судьба.

— Ой, березы вы мои, березы,
Вы мои пречистые ручьи,
Расступитесь и омойте слезы,
Расплетите косыньки мои,

Приоденьте корнем и корою,
Положите на свою кровать,
Помешайте злобе и разбою
Руки мои белые отнять!

1959

ДРИАДА

Я говорю:

Чем стала ты, сестра моя дриада,
В гостеприимном городском раю?
Кто отнял дикую вольность твою?
Где же твои крыла, пленница сада?

Дриада говорит:

Ножницы в рощу принесла досада,
И зависть выдала, в каком краю
Скрывалась я. Ты видишь — я стою,
Лира немая, музыке не рада.

Не называй меня сестрой своей,
Не выйду я из выгнутых ветвей,
Не перейду в твое хромое тело,

Не обопрусь на твои костыли.
Ты не глотнешь от моего удела —
Жить памятью о праздниках земли.

1945—1946

ДВЕ ЯПОНСКИЕ СКАЗКИ

1. БЕДНЫЙ РЫБАК

Я рыбак, а сети
В море унесло.
Мне теперь на свете
Пусто и светло.

И моя отрада
В том, что от людей
Ничего не надо
Нищете моей.

Мимо всей вселенной,
Я пойду, смиренный,
Тихий и босой,
За благословенной
Утренней звездой.

II. ФЛЕЙТА

Мне слышался чей-то
Затишающий зов,
Бесприютная флейта
Из-за гор и лесов.

Наклоняется ива
Над студеным ручьем,
И ручей торопливо
Говорит ни о чем.

Осторожный и звонкий,
Будто веретено,
То всплывает в воронке,
То уходит на дно.

1956—1965

ИМЕНА

А ну-ка, Македонца или Пушкина
Попробуйте назвать не Александром,
А как-нибудь иначе!

Не пытайтесь.

Еще Петру Великому придумайте
Другое имя!

Ничего не выйдет.

Встречался вам когда-нибудь юродивый,
Которого не называли Гришей?
Нет, не встречался, если не соврать.

И можно кожу заживо сорвать,
Но имя к нам так крепко припечатано,
Что силы нет переименовать,
Хоть каждое затерто и захватано.
У нас не зря про имя говорят:
Оно —
Ни дать ни взять родимое пятно.

Недавно изобретена машинка:
Приставят к человеку, и глядишь —
Ушная мочка, малая морщинка,

Ухмылка, крылышко ноздри, горбинка, —
Пищит, как бы комарик или мышь:

— Иван!

— Семен!

— Василий!

Худо, братцы,
Чужая кожа пристаёт к носам.

Есть многое на свете, друг Горацио,
Что и не снилось нашим мудрецам.

1957

И над тем, что на две половинки —
Каждой по рукаву и штанинке —
Сам свое подземельное тельце
Разорвал он своею рукой.

Непрактичный и злобный какой!

1957

РУСАЛКА

Западный ветер погнал облака.
Забеспокоилась Клязьма-река.

С первого августа дочке неможется,
Вон как скукожилась черная кожица.

Слушать не хочет ершей да плотвиц,
Губ не синит и не красит ресниц.

— Мама-река моя, я не упрямая,
Что ж это с гребнем не сладит рука моя?

Глянула в зеркало — я уж не та,
Канула в омут моя красота.

Замуж не вышла, детей не качала я,
Так почему ж я такая усталая?

Клонит ко сну меня, тянет ко дну,
Вот я прилягу, вот я усну.

— Свет мой, икринка, лягушечья спинушка,
Спи до весны, не кручинься, Иринушка!

1956

АКТЕР

Всё кончается, как по звонку,
На убогой театральной сцене
Дранкой вверх несут мою тоску —
Душные лиловые сирени.

Я стою хмелён и одинок,
Будто нищий над своею шапкой,
А моя любимая со щек
Маков цвет стирает сальной тряпкой.

Я искусство ваше презирал.
С чем еще мне жизнь сравнить, скажите,
Если кто-то роль мою сыграл
На вертушке роковых событий?

Где же ты, счастливый мой двойник?
Ты, видать, увел меня с собою,
Потому что здесь чужой старик
Ссорится у зеркала с судьбою.

[1958]

ЛАЗУРНЫЙ ЛУЧ

Тогда я запер на замок двери
своего дома и ушел вместе с другими.

Г. Уэллс

Сам не знаю, что со мною:
И последыш и пророк,
Что ни сбудется с землею
Вижу вдоль и поперек.

Кто у мачехи-Европы
Молока не воровал?
Мотоциклы, как циклопы,
Заглотали перевал,

Шелестящие машины
Держат путь на океан,
И горячий дух резины
Дышит в пешех горожан.

Слесаря, портные, прачки
По шоссе, как муравьи,
Катят каторжные тачки,
Волокут узлы свои.

Потеряла мать ребенка,
Воздух ловит рыбьим ртом,
А из рук торчит пеленка
И бутылка с молоком.

Паралитик на коляске
Боком валится в кювет,
Бельма вылезли из маски,
Никому и дела нет.

Спотыкается священник
И бормочет:
— Умер Бог, —
Голубки бумажных денег
Вылетают из-под ног.

К пристаням нельзя пробиться,
И Европа пред собой
Смотрит, как самоубийца,
Не мигая, на прибор.

В океане по колена,
Белый и большой, как бык,
У причала роет пену,
Накреньясь, «трансатлантик».

А еще одно мгновенье —
И от Страшного суда,
Как надежда на спасенье
Он отвалит навсегда.

По сто раз на дню, как брата,
Распинали вы меня,
Нет вам к прошлому возврата,
Вам подземка не броня.

— Ууу-ла! Ууу-ла! —

марсиане

Воют на краю Земли,
И лазурный луч в тумане
Их треножники зажгли.

[1958]

ПАУЛЬ КЛЕЕ

Жил да был художник Пауль Клее
Где-то за горами, над лугами.
Он сидел себе один в аллее
С разноцветными карандашами,

Рисовал квадраты и крючочки,
Африку, ребенка на перроне,
Дьяволенка в голубой сорочке,
Звезды и зверей на небосклоне.

Не хотел он, чтоб его рисунки
Были честным паспортом природы,
Где послушно строятся по струнке
Люди, кони, города и воды.

Он хотел, чтоб линии и пятна,
Как кузнечики в июльском звоне,
Говорили слитно и понятно.
И однажды утром на картоне

Проступили крылышко и темя:
Ангел смерти стал обозначаться.
Понял Клее, что настало время
С Музой и знакомыми прощаться.

Попрощался и скончался Клее.
Ничего не может быть печальней!
Если б Клее был немного злее,
Ангел смерти был бы натуральней.

И тогда с художником все вместе
Мы бы тоже сгинули со света,
Порастряс бы ангел наши кости!
Но скажите мне: на что нам это?

На погосте хуже, чем в музее,
Где порой вы бродите, живые,
И висят рядком картины Клее —
Голубые, желтые, блажные...

1957

ЧЕТВЕРТАЯ ПАЛАТА

Девочке в сером халате,
Аньке из детского дома,
В женской четвертой палате
Каждая малость знакома —

Кружка и запах лекарства,
Няньки дежурной указки
И тридевятое царство —
Пятна и трещины в краске.

Будто синица из клетки,
Глянет из-под одеяла:
Не просыпались соседки,
Утро еще не настало?

Востренький нос, восковые
Пальцы, льняная косица.
Мимо проходят живые.
— Что тебе, Анька?

— Не спится.

Ангел больничный за шторой
Светит одеждой туманной.

— Я за больной.

— За которой?

— Я за детдомовской Анной.

1958

КУЗНЕЦ

Клянусь, мне столько лет, что наковальня
И та не послужила бы так долго,
Куда уж там кувалде и мехам.
Сам на себе я самого себя
Самим собой ковал — и горн гашу,
А все-таки работой недоволен:
Тут на железе трещина, тут выгиб
Не тот, тут — раковина, где должна бы
Свистеть волшебной флейтой горловина.

Не мастера ты выковал, кузнец,
Кузнечика ты смастерил, а это
И друг неверный, и плохой близнец,
Ни хлеба от такого, ни совета.

Что ж, топочи, железная нога!
Железная не там открылась книга.
Живи, браток, железным усом двигай!
А мне наутро — новая туга...

1962

НОВОСЕЛЬЕ

Исполнены диллювиальной веры
В извечный быт у счастья под крылом,
Они переезжали из пещеры
В свой новый дом.

Не странно ли? В квартире так недавно
Царили кисть, линейка и алмаз,
И с чистотою, нимфой богоравной,
Бог пустоты здесь прятался от нас.

Но четверо нечленов профсоюза —
Атлант, Сизиф, Геракл и Одиссей —
Контейнеры, трещавшие от груза,
Внесли, бахвалясь алчностью своей.

По-жречески приплясывая рьяно,
С молитвенным заклятием «наддай!»
Втащили Попокатепетль дивана,
Малиновый, как первозданный рай,

И, показав, на что они способны,
Без помощи своих железных рук
Вскочили на буфет пятиутробный
И Афродиту подняли на крюк.

Как нежный сгусток розового сала,
Она плыла по морю одеял
Туда, где люстра, как фазан, сияла
И свет зари за шторой умирал.

Четыре мужа, Анадиомене
Воздав смущенно страстные хвалы,
Ушли.

Хозяйка, преклонив колени,
Взялась за чемоданы и узлы.

Хозяин расставлял фарфор.

Не всякий

Один сюжет ему придать бы мог:
Здесь были:

свиньи,
чашки
и собаки,
Наполеон
и Китеж-городок.

Он отыскал собранье сочинений
Молоховец —

и в кабинет унес,

И каждый том, который создал гений,
Подставил, как Борей, под пылесос.

Потом, на час покинув нашу эру
И новый дом со всем своим добром,
Вскочил в такси

и покатил в пещеру,

Где ползал в детстве перед очагом.

Там Пень стоял — дубовый, в три обхвата,
Хранитель рода и Податель сил.

О, как любил он этот Пень когда-то!
И как берег! И как боготворил!

И Пень теперь в гостиной, в сердцевине
Диковинного капища вещей
Гордится перед греческой богиней
Неоспоримой древностью своей.

Когда на праздник новоселья гости
Сошлись и дом поставили вверх дном,
Как древле — прадед,

мамонтовы кости

На нем
рубил
хозяин
топором!

1957

* * *

Когда вступают в спор природа и словарь
И слово силится отвлечься от явлений,
Как слепок от лица, как цвет от светотени, —
Я нищий или царь? Коса или косарь?

Но миру своему я не дарил имен:
Адам косил камыш, а я плету корзину.
Коса, косарь и царь, я нищ наполовину,
От самого себя еще не отделен.

[1966]

* * *

Я по каменной книге учу вневременный язык,
Меж двумя жерновами плыву, как зерно в камневерти,
И уже я по горло в двухмерную плоскость проник,
Мне хребет размолото на мельнице жизни и смерти.

Что мне делать, о посох Исайи, с твоей прямизной?
Тоньше волоса пленка без времени, верха и низа.
А в пустыне народ на камнях собирался, и в зной
Кожу мне холодила рогожная царская риза.

[1966]

ЗИМА В ДЕТСТВЕ

I

В желтой траве отплясали кузнечики,
Мальчику на зиму кутают плечики,
Рамы вставляют, летает снежок,
Дунула вьюга в почтовый рожок.
А за воротами шаркают пильщики,
И ножи-ножницы точат точильщики,
Сани скрипят, и снуют бубенцы,
И по железу стучат кузнецы.

II

МЕРЕЩИТСЯ ВЕЯЛКА

А в доме у Тарковских
Полным-полно приезжих,
Гремят посудой, спорят,
Не разбирают елки,

И сыплются иголки
В зеркальные скорлупки,
Пол серебром посолен,
А самый младший болен.

На лбу компресс, на горле
Компресс. Идут со свечкой.
Малиной напоили?
Малиной напоили.

В углу зажгли лампадку,
И веялку приносят,
И ставят на площадку,
И крутят рукоятку,

И сыплются обрезки —
Жестянки и железки.
Вставай, пойдем по краю,
Я все тебе прощаю.

То под гору, то в гору
Пойдем в другую пору
По зимнему простору,
Малиновому снегу.

[1967]

* * *

Тогда еще не воевали с Германией,
Тринадцатый год был еще в середине,
Неведеньем в доме болели, как манией,
Как жаждой три пальмы в песчаной пустыне.

У матери пахло спиртовкой, фиалкою,
Лиловой накидкой в шкафу, на распялке;
Все детство мое, по-блаженному жалкое,
В горящей спиртовке и пармской фиалке.

Зато у отца, как в Сибири у ссыльного,
Был плед Гарибальди и Герцен под локтем.
Ванилью тянуло от города пыльного,
От пригорода — конским потом и дегтем.

Казалось, что этого дома хозяева
Навечно в своей довоенной Европе,
Что не было, нет и не будет Сараева,
И где они, эти мазурские топи?..

[1966]

* * *

Позднее наследство,
Призрак, звук пустой,
Ложный слепок детства,
Бедный город мой.

Тяготит мне плечи
Бремя стольких лет.
Смысла в этой встрече
На поверку нет.

Здесь теперь другое
Небо за окном —
Дымно-голубое,
С белым голубком.

Резко, слишком резко,
Издали видна,
Рдеет занавеска
В прорези окна,

И, не узнавая,
Смотрит мне вослед
Маска восковая
Стародавних лет.

<1955>

* * *

Я в детстве заболел
От голода и страха. Корку с губ
Сдери — и губы облизну; запомнил
Прохладный и солоноватый вкус.
А все иду, а все иду, иду,
Сижу на лестнице в парадном, греюсь,
Иду себе в бреду, как под дуду
За крысоловом в реку, сяду — греюсь
На лестнице; и так знобит и эдак.
А мать стоит, рукою манит, будто
Невдалеке, а подойти нельзя:
Чуть подойду — стоит в семи шагах,
Рукою манит; подойду — стоит
В семи шагах, рукою манит.

Жарко

Мне стало, расстегнул я ворот, лег, —
Тут затрубили трубы, свет по векам
Ударил, кони поскакали, мать
Над мостовой летит, рукою манит —
И улетела...

И теперь мне снится
Под яблонями белая больница,
И белая под горлом простыня,

И белый доктор смотрит на меня,
И белая в ногах стоит сестрица
И крыльями поводит. И остались.
А мать пришла, рукою поманила —
И улетела...

[1966]

ПОЭТ НАЧАЛА ВЕКА

Твой каждый стих — как чаша яда,
Как жизнь, спаленная грехом,
И я дышу, хоть и не надо,
Нельзя дышать твоим стихом.

Ты бедный мальчик сумасшедший,
С каких-то белых похорон
На пиршество друзей приведший
Колоколов прощальный звон.

Прости меня, я, как в тумане,
Приникну к твоему плащу
И в черной выношенной ткани
Такую стужу отыщу,

Такой возврат невыносимый
Смертельной юности моей,
Что гул погибельной Цусимы
Твоих созвучий не страшней.

Тогда я стираю руки
И путь держу на твой магнит,

А на земле в последней муке
Внизу —
душа моя скорбит...

[1959]

НОЧНАЯ БАБОЧКА «МЕРТВАЯ ГОЛОВА»

Ходит Пиковая дама,
Палец с головой Адама,
Вверх и вниз под потолком,
Стекол кожу неживую,
Будто рану ножевую,
Метит белым сквозняком.

Треплет свечку, морщит пламя
Знамя ночи вкось углами,
Соглядатай, часовой,
Жироватый, суховатый...
— Чур, щеки не припечатай,
Чур, не трогай, я живой!

Ночью все мы — на чужбине
Под воронкой черно-синей,
В царстве чуждых душ и тел,
Днем — в родительском гнездовье
Душным потом, красной кровью
Ограничим свой предел.

[1966]

ВТОРАЯ ОДА

Подложи мне под голову руку
И восставь меня, как до зари
Подымала на счастье и муку,
И опять к высоте привари,

Чтобы пламя твое ледяное
Синей солью стекало со лба
И внизу, как с горы, предо мною
Шевелились леса и хлеба,

Чтобы кровь из-под стоп, как с предгорий,
Жарким деревом вниз головой,
Каждой веткой ударилась в море
И несла корабли по кривой.

Чтобы вызов твой ранний сначала
Прозвучал и в горах не затих.
Ты в созвездья других превращала.
Я и сам из преданий твоих.

[1967]

ЛАСТОЧКИ

Летайте, ласточки, но в клювы не берите
Ни пилки, ни сверла, не делайте открытий,
Не подражайте нам; довольно и того,
Что вы по-варварски свободно говорите,
Что зоркие зрачки в почетной вашей свите
И первой зелени святое торжество.

Я в Грузии бывал, входил и я когда-то
По щелю и траве в пустынный храм Баграта —
В кувшин расколотый, и над жерлом его
Висела ваша сеть. И Симон Чиковани
(А я любил его, и мне он был как брат)
Сказал, что на земле пред вами виноват —
Забыл стихи сложить о легком вашем стане,
Что в детстве здесь играл, что, может быть, Баграт
И сам с ума сходил от ваших восклицаний.

Я вместо Симона хвалу вам воздаю.
Не подражайте нам, но только в том краю,
Где Симон спит в земле, вы спойте, как в дурмане,
На языке своем одну строку мою.

[1967]

* * *

Дом без жильцов заснул и снов не видит.
Его душа, безгрешна и пуста,
В себя глядит закрытыми глазами,
Но самое себя не сознает
И дико вскидывается, когда
Из крана бульба шлепнется на кухне.
Водопровод молчит, и телефон
Молчит.

Ну что же, спи спокойно, дом,
Спи, кубатура-сирота! Вернутся
Твои жильцы, и время в чем попало —
В больших кувшинах, в синих ведрах, в банках
Из-под компота — принесут, и окна
Отворят, и продуют сквозняком.
Часы стояли? Шли часы? Стояли.
Вот мы и дома. Просыпайся, дом!

[1967]

ПЕРВАЯ ГРОЗА

Лиловая в Крыму и белая в Париже,
В Москве моя весна скромней и сердцу ближе,
Как девочка в слезах. А вор в дождевике
Под дождь — из булочной с бумажкой в кулаке,
Но там, где туфелькой скользнула изумрудной,
Беречься ни к чему и плакать безрассудно.
По лужам облака проходят косяком,
Павлиньи радуги плывут под каблуком,
И девочка бежит по гребню светотени
(А это жизнь моя) в зеленом по колени,
Авоськой машучи, по лестнице винтом,
И город весь внизу, и гром — за нею в дом...

[1967]

БЕЛЫЙ ДЕНЬ

Камень лежит у жасмина.
Под этим камнем клад.
Отец стоит на дорожке.
Белый-белый день.

В цвету серебристый тополь,
Центифолия, а за ней —
Вьющиеся розы,
Молочная трава.

Никогда я не был
Счастливей, чем тогда.
Никогда я не был
Счастливей, чем тогда.

Вернуться туда невозможно
И рассказать нельзя,
Как был переполнен блаженством
Этот райский сад.

[1942]

* * *

Вот и лето прошло,
Словно и не бывало.
На пригреве тепло.
Только этого мало.

Все, что сбыться могло,
Мне, как лист пятипалый,
Прямо в руки легло,
Только этого мало.

Понапрасну ни зло,
Ни добро не пропало,
Все горело светло,
Только этого мало.

Жизнь брала под крыло,
Берегла и спасала,
Мне и вправду везло.
Только этого мало.

Листьев не обожгло,
Веток не обломало...
День промыт, как стекло,
Только этого мало.

[1967]

* * *

Мне бы только теперь до конца не раскрыться,
Не раздать бы всего, что напела мне птица,
Белый день наболтал, наморгала звезда,
Намигала вода, накислола кислица,
На прожиток оставить себе навсегда
Крепкий шарик в крови, полный света и чуда,
А уж если дороги не будет назад,
Так втянуться в него и не выйти оттуда,
И — в аорту, неведомо чью, наугад.

[1967]

* * *

Мамка птичья и стрекозья,
Помутнела синева,
Душным воздухом предгрозя
Дышит жухлая трава.

По деревне ходит Каин,
Стекла бьет и на расчет,
Как работника хозяин,
Брата младшего зовет.

Духоту сшибает холод,
По пшенице пляшет град.
Видно, мир и вправду молод,
Авель вправду виноват.

Я гляжу из-под ладони
На тебя, судьба моя,
Не готовый к обороне,
Будто в Книге Бытия.

[1967]

ПРИАЗОВЬЕ

На полустанке я вышел. Чугун отдыхал
В крупных шарах маслянистого пара. Он был
Царь ассирийский в клубящихся гроздьях кудрей.
Степь отворилась, и в степь как воронкой ветров
Душу втянуло мою. И уже за спиной
Не было мазанок; лунные башни вокруг
Зыблились и утверждались до края земли,
Ночь разворачивала из проема в проем
Твердое, плотно укатанное полотно.
Юность моя отошла от меня, и мешок
Сгорбил мне плечи. Ремни развязал я, и хлеб
Солью посыпал, и степь накормил, а седьмой
Долей насытил свою терпеливую плоть.
Спал я, пока в изголовье моем остывал
Пепел царей и рабов и стояла в ногах
Полная чаша свинцовой азовской слезы.
Снилось мне все, что случится в грядущем со мной.
Утром очнулся и землю землею назвал,
Зною подставил еще не окрепшую грудь.

[1968]

* * *

Пляшет перед звездами звезда,
Пляшет колокольчиком вода,
Пляшет шмель и в дудочку дудит,
Пляшет перед скинией Давид.

Плачет птица об одном крыле,
Плачет погорелец на золе,
Плачет мать над люлькою пустой,
Плачет крепкий камень под пятой.

[1968]

* * *

Во вселенной наш разум счастливый
Ненадежное строит жилье,
Люди, звезды и ангелы живы
Шаровым натяженьем ее.
Мы еще не зачали ребенка,
А уже у него под ногой
Никуда выгибается пленка
На орбите его круговой.

[1968]

* * *

Наша кровь не ревнует по дому,
Но зияет в грядущем пробел,
Потому что земное земному
На земле полагает предел.
Обезумевшей матери снится
Верещанье четверки коней,
Фэтон, и его колесница,
И багровые кубы камней.

[1968]

* * *

На пространство и время ладони
Мы наложим еще с высоты,
Но поймем, что в державной короне
Драгоценней звезда нищеты,
Нищеты, и тщеты, и заботы
О нерадостном хлебе своем,
И с чужими созвездьями счеты
На земле материнской сведем.

[1968]

* * *

Струнам счет ведут на лире
Наши древние права,
И всего дороже в мире
Птицы, звезды и трава.

До заката всем народом
Лепят ласточки дворец,
Перед солнечным восходом
Наклоняет лук Стрелец,

И в кувшинчик из живого
Персефонины стекла
Вынуть хлебец свой медовый
Опускается пчела.

Потаенный ларь природы
Отмыкает нищий царь,
И крадет залог свободы
Летних месяцев букварь.

Дышит мята в каждом слове,
И от головы до пят
Шарики зеленой крови
В капиллярах шебуршат.

[1968]

ПАМЯТИ А. А. АХМАТОВОЙ

I

Стелил я снежную постель,
Луга и рощи обезглавил,
К твоим ногам прильнуть заставил
Сладчайший лавр, горчайший хмель.

Но марта не сменил апрель
На страже росписей и правил.
Я памятник тебе поставил
На самой слезной из земель.

Под небом северным стою
Пред белой, бедной, непокорной
Твоею высотой горной

И сам себя не узнаю,
Один, один в рубахе черной
В твоём грядущем, как в раю.

II

Когда у Николы Морского
Лежала в цветах нищета,
Смирненное чуждое слово

Светилось темно и сурово
На воске державного рта.

Но смысл его был непонятен,
А если понять — не сберечь,
И был он, как небыль, невнятен
И разве что в трепете пятен
Вокруг оплывающих свеч.

И тень бездомной гордыни
По черному Невскому льду,
По снежной Балтийской пустыне
И по Адриатике синей
Летела у всех на виду.

III

Домой, домой, домой,
Под сосны в Комарове...
О, смертный ангел мой
С венками в изголовье,
В косынке кружевной,
С крылами наготове!

Как для деревьев снег,
Так для земли не бремя
Открытый твой ковчег,
Плывущий перед всеми
В твой двадцать первый век.
Из времени во время.

Последний луч несла
Зима над головою,
Как первый взмах крыла
Из-под карельской хвои,
И звезды ночь зажгла
Над снежной синевою.

Горек мой хлеб,
мой голос полынь,
дорога моя горька.

В горле стоит
небесная синь —
твои ледяные А:

Имя твое
Ангел и Ханаан,
ты отъединена,

Ты отчуждена —
пустыня пустынь,
пир, помянутый в пост,
За семь столетий
дошедший до глаз
фосфор последних звезд.

VI

И эту тень я проводил в дорогу
Последнюю — к последнему порогу,
И два крыла у тени за спиной,
Как два луча, померкли понемногу.

И год прошел по кругу стороной.
Зима трубит из просеки лесной.
Нестройным звоном отвечает рогу
Карельских сосен морок слюдяной.

Что, если память вне земных условий
Бессильна день восстановить в ночи?
Что, если тень, покинув землю, в слове

Не пьет бессмертья?

Сердце, замолчи,

Не лги, глотни еще немного крови,

Благослови рассветные лучи.

[1966—1968]

ЗАСУХА

Земля зачерствела, как губы,
Обметанные сypняком,
И засухи дымные трубы
Беззвучно гудели кругом,

И высохло русло речное,
Вода из колодцев ушла.
Навечно осталась от зноя
В крови ледяная игла.

Качается узкою лодкой
И целится в сердце мое,
Но, видно, дороги короткой
Не может найти острие.

Есть в круге грядущего мира
Для засухи этой приют,
Где души скитаются сирот
И ложной надеждой живут.

[1971]

ЭРЕБУНИ

Они хотели всем народом
Распад могильный обмануть
И араратским кислородом
Продуть холма сухую грудь.

Под спудом бусина синела,
И в черноте черным-черно
Чернело и окаменело
В кувшине царское зерно.

Кремля скалистые основы
Уже до пят оголены.
И в струнку стал кирпич сырцовый
Подштукатуренной стены.

А ласточки свой посвист длинный
Натягивают на лету
На подновленные руины
Во всю их ширь и пустоту.

Им только бы земля пестрела
В последних числах ноября,
И нет им никакого дела
До пририсованного тела
Давно истлевшего царя.

[1968]

* * *

Когда под соснами, как подневольный раб,
Моя душа несла истерзанное тело,
Еще навстречу мне земля стремглав летела
И птицы прядали, слышав конский храп.

Иголки черные, и сосен чешуя,
И брызжет из-под ног багровая брусника,
И веки пальцами я раздираю дико,
И тело хочет жить, и разве это — я?

И разве это я ищу сгоревшим ртом
Колен сухих корней, и, как во время оно,
Земля глотает кровь, и сестры Фаэтона
Преображаются и плачут янтарем.

[1969]

* * *

Как сорок лет тому назад,
Сердцебиение при звуке
Шагов, и дом с окошком в сад,
Свеча и близорукий взгляд,
Не требующий ни поруки,
Ни клятвы. В городе звонят.
Светает. Дождь идет, и темный,
Намокший дикий виноград
К стене прижался, как бездомный,
Как сорок лет тому назад.

[1969]

* * *

Как сорок лет тому назад,
Я вымок под дождем, я что-то
Забыл, мне что-то говорят,
Я виноват, тебя простят,
И поезд в десять пятьдесят
Выходит из-за поворота.
В одиннадцать конец всему,
Что будет сорок лет в грядущем
Тянуться поездом идущим
И окнами мелькать в дыму,
Всему, что ты без слов сказала,
Когда уже пошел состав.
И чья-то юность, у вокзала
От провожающих отстав,
Домой по лужам как попало
Плетется, прикусив рукав

[1969]

* * *

Хвала измерившим высоты
Небесных звезд и гор земных
Глазам — за свет и слезы их!

Рукам, уставшим от работы,
За то, что ты, как два крыла,
Руками их не отвела!

Гортани и губам хвала
За то, что трудно мне поется,
Что голос мой и глух и груб,
Когда из глубины колодца
Наружу белый голубь рвется
И разбивает грудь о сруб!

Не белый голубь — только имя,
Живому слуху чуждый лад,
Звучащий крыльями твоими,
Как сорок лет тому назад.

[1969]

* * *

Стихи попадают в печать,
И в точках, расставленных с толком,
Себя невозможно признать
Бессонниц моих кривотолкам.

И это не книга моя,
А в дальней дороге без весел
Идет по стремнине ладья,
Что сам я у пристани бросил.

И нет ей опоры верней,
Чем дружбы неведомой плечи.
Минувшее ваше, как свечи,
До встречи погашено в ней.

[1967]

З ИМНИЙ ДЕНЬ

1971-1979

* * *

И это снилось мне, и это снится мне,
И это мне еще когда-нибудь приснится,
И повторится все, и все довоплотится,
И вам приснится все, что видел я во сне.

Там, в стороне от нас, от мира в стороне
Волна идет вослед волне о берег биться,
А на волне звезда, и человек, и птица,
И явь, и сны, и смерть — волна вослед волне.

Не надо мне числа: я был, и есмь, и буду,
Жизнь — чудо из чудес, и на колени чуду
Один, как сирота, я сам себя кладу,
Один — среди зеркал — в ограде отражений
Морей и городов, лучащихся в чаду.
И мать в слезах берет ребенка на колени.

[1974]

* * *

Мне другие мерещатся тени,
Мне другая поет нищета.
Переплетчик забыл о шагрени,
И красильщик не красит холста,

И кузнечная музыка счетом
На три четверти в три молотка
Не проявится за поворотом
Перед выездом из городка.

За коклюшки свои кружевница
Под окном не садится с утра,
И лудильщик, цыганская птица,
Не чадит кислотой у костра,

Златобит молоток свой забросил,
Златошвейная кончилась нить.
Наблюдать умиранье ремесел —
Все равно что себя хоронить.

И уже электронная лира
От своих программистов тайком
Сочиняет стихи Кантемира,
Чтобы собственным кончить стихом.

[1973]

ФЕОФАН ГРЕК

Когда я видел воплощенный гул,
И меловые крылья оживали,
Открылось мне: я жизнь перешагнул,
А подвиг мой еще на перевале.

Мне должно завещание могил,
Зияющих, как ножевая рана,
Свести к библейской резкости белил
И подмастерьем стать у Феофана.

Я по когтям узнал его: он лев,
Он кость от кости собственной пустыни,
И жажду я, и вижу сны, истлев
На раскаленных углях благостыни.

Я шесть веков дышу его огнем
И ревностью шести веков изранен.
— Придешь ли, милосердный самарянин,
Повить меня твоим прохладным льном?

[1975—1976]

ПУШКИНСКИЕ ЭПИГРАФЫ

I

Спой мне песню, как синица
Тихо за морем жила...

«Зимний вечер»

Почему, скажи, сестрица,
Не из Божьего ковша,
А из нашего напиться
Захотела ты, душа?

Человеческое тело
Ненадежное жилье,
Ты влетела слишком смело
В сердце тесное мое.

Тело может истомиться,
Яду невзначай глотнуть,
И потянешься, как птица,
От меня в обратный путь.

Но когда ты отзывалась
На призывы бытия,
Непосильной мне казалась
Ноша бедная моя, —

Может быть, и так случится,
Что, закончив перелет,
Будешь биться, биться, биться —
И не отомкнут ворот.

Пой о том, как ты земную
Боль, и соль, и желчь пила,
Как входила в плоть живую
Смертоносная игла,

Пой, бродяжка, пой, синица,
Для которой корма нет,
Пой, как саваном ложится
Снег на яблоневый цвет,

Как возвысилась пшеница,
Да побил пшеницу град...
Пой, хоть время прекратится,
Пой, на то ты и певица,
Пой, душа, тебя простят.

II

...Как мимолетное виденье,
Как гений чистой красоты...

«К***»

Как тот Кавказский Пленник в яме,
Из глины нищеты моей
И я неловкими руками
Лепил свистульки для детей.

Не испытав закала в печке,
Должно быть, вскоре на куски
Ломались козлики, овечки,
Верблюдики и петушки.

Бросали дети мне объедки,
Искусство жалкое ценя,
И в яму, как на зверя в клетке,
Смотрели сверху на меня.

Приспав сердечную тревогу,
Я забывал, что пела мать,
Я научился понемногу
Мне чуждый лепет понимать.

Я смутно жил, но во спасенье
Души, изнывшей в полусне,
Как мимолетное виденье,
Опять явилась муза мне,

И лестницу мне опустила,
И вывела на белый свет,
И леньность сердца мне простила,
Пусть хоть теперь, на склоне лет.

III

Что тревожишь ты меня?
Что ты значишь...

*«Стихи, сочиненные ночью
во время бессонницы»*

Разобрал головоломку —
Не могу ее сложить.
Подскажи хоть ты потомку,
Как на свете надо жить —

Ради неба, или ради
Хлеба и тщеты земной,

Ради сказанных в тетради
Слов идущему за мной?

Под окном — река забвенья,
Испарения болот.
Хмель чужого поколения
И тревожит, и влечет.

Я кричу, а он не слышит,
Жжет свечу до бела дня,
Будто мне в ответ он пишет:
«Что тревожишь ты меня?»

Я не стою ни полслова
Из его черновика,
Что ни слово — для другого,
Через годы и века.

Боже правый, неужели
Вслед за ним пройду и я
В жизнь из жизни мимо цели,
Мимо смысла бытия?

IV

Я каждый раз, когда хочу сундук
Мой отпереть...

«Скупой рыцарь»

В магазине меня обсчитали:
Мой целковый кассирше нужней.
Но каких несравненных печалей
Не дарили мне в жизни моей:

В снежном, полном веселости мире,
Где алмазная светится высь,

Прямо в грудь мне стреляли, как в тире,
За душой, как за призом, гнались.

Хорошо мне изранили тело
И не взяли за то ни копья,
Безвозмездно мне сердце изъяла
Драгоценная ревность моя.

Клевета расстилала мне сети,
Голубевшие, как бирюза,
Наилучшие люди на свете
С царской щедростью лгали в глаза.

Был бы хлеб. Ни богатства, ни славы
Мне в моих сундуках не беречь.
Не гадал мой даритель лукавый,
Что вручил мне с подарками право
На прямую свободную речь.

[1976]

ГРИГОРИЙ СКОВОРОДА

Не искал ни жилища, ни пищи,
В ссоре с кривдой и с миром не в мире,
Самый косноязычный и нищий
Изо всех государей Псалтыри.

Жил в сродстве горделивый смиренник
С древней книгою книг, ибо это
Правдолюбия истинный ценник
И душа сотворенного света.

Есть в природе притин своеволью:
Степь течет оксамитом под ноги,
Присыпает сивашскою солью
Черствый хлеб на чумацкой дороге,

Птицы молятся, верные вере,
Тихо светят речистые речки,
Домовитые малые звери
По-над норами встали, как свечки.

Но и сквозь обольщения мира,
Из-за литер его алфавита,
Брежит небо синее сапфира,
Крыльям разума настезь открыто.

[1976]

* * *

Мир ловил меня, но не поймал.

Автоэпитафия Гр. Сковороды

Где целовали степь курганы
Лицом в траву, как горбуны,
Где дробно били в барабаны
И пыль клубили табуны,

Где на рогах волы качали
Степное солнце чумака,
Где горькой патокой печали
Чадил костер из кизяка,

Где спали каменные бабы
В календаре былых времен
И по ночам сходились жабы
К ногам их плоским на поклон, —

Там пробирался я к Азову:
Подставил грудь под суховей,
Босой, пошел на юг по зову
Судьбы скитальческой своей,

Топтал чабрец родного края
И ночевал — не помню где,
Я жил, невольню подражая
Григорию Сковороде,

Я грыз его благословенный
Священный каменный сухарь,
Но по лицу моей вселенной
Он до меня прошел, как царь;

Пред ним прельстительные сети
Меняли тщетно цвет на цвет.
А я любил ячейки эти,
Мне и теперь свободы нет.

Не надивуюсь я величию
Счастливых помыслов его.
Но подари мне песню птичью
И степь — не знаю для чего.

Не для того ли, чтоб оттуда
В свой час при свете поздних звезд,
Благословив земное чудо,
Вернуться на родной погост?

[1976]

* * *

Душу, вспыхнувшую на лету,
Не увидели в комнате белой,
Где в перстах милосердных колдуний
Нежно теплилось детское тело.

Дождь по саду прошел накануне,
И просохнуть земля не успела;
Столько было сирени в июне,
Что сияние мира синело.

И в июле, и в августе было
Столько света в трех окнах, и цвета,
Столько в небо фонтанами било
До конца первозданного лета,
Что судьба моя и за могилой
Днем творенья, как почва, прогрета.

[1976]

* * *

Был домик в три оконца
В такой окрашен цвет,
Что даже в спектре солнца
Такого цвета нет.

Он был еще спектральной,
Зеленый до того,
Что я в окошко спальни
Молился на него.

Я верил, что из рая,
Как самый лучший сон,
Оттенка не меняя,
Переместился он.

Поныне домик чудный,
Чудесный и чудной,
Зеленый, изумрудный,
Стоит передо мной.

И ставни затворяли,
Но иногда и днем
На чем-то в нем играли
И что-то пели в нем,

А ночью на крылечке
Прощались, и впотьмах
Затепливали свечки
В бумажных фонарях.

[1976]

* * *

Еще в ушах стоит и гром и звон:
У, как трезвонил вагоновожатый!

Туда ходил трамвай, и там была
Неспешная и мелкая река —
Вся в камыше и ряске.

Я и Валя

Сидим верхом на пушках у ворот
В Казенный сад, где двухсотлетний дуб,
Мороженщики, будка с лимонадом
И в синей раковине музыканты.

Июнь сияет над Казенным садом.

Труба бубнит, бьют в барабан, и флейта
Свистит, но слышно, как из-под подушки
Вполбарабана, вполтрубы, вполфлейты
И в четверть сна, в одну восьмую жизни.

Мы оба

(в летних шляпах на резинке,
В сандалиях, в матросках с якорями)
Еще не знаем, кто из нас в живых
Останется, кого из нас убьют,

О судьбах наших нет еще и речи,
Нас дома ждет парное молоко,
И бабочки садятся нам на плечи,
И ласточки летают высоко.

[1976]

ЖИЛИ-БЫЛИ

Вся Россия голодала,
Чуть жила на холоду,
Граммofоны, одеяла,
Стулья, шапки, что попало
На пшено и соль меняла
В девятнадцатом году.

Брата старшего убили,
И отец уже ослеп,
Все имущество спустили,
Жили, как в пустой могиле,
Жили-были, воду пили
И пекли крапивный хлеб.

Мать согнулась, постарела,
Поседела в сорок лет
И на худенькое тело
Рвань по-нищенски надела;
Ляжет спать — я то и дело:
Дышит мама или нет?

Гости что-то стали редки
В девятнадцатом году.
Сердобольные соседки

Тоже, будто птицы в клетке
На своей засохшей ветке,
Жили у себя в аду.

Но картошки гниловатой
Нам соседка принесла
И сказала:

— Как богато

Жили нищие когда-то.
Бог Россию виноватой
Счел за Гришкины дела.

Вечер был. Сказала:

— Ешьте! —

Подала лепешки мать.
Муза в розовой одежде,
Не являвшаяся прежде,
Вдруг предстала мне в надежде
Не давать ночами спать.

Первое стихотворенье
Сочинял я, как в бреду:
«Из картошки в воскресенье
Мама испекла печенье!»
Так познал я вдохновенье
В девятнадцатом году.

[1975]

* * *

Влажной землей из окна потянуло,
Уксусной прелью хмельнее вина;
Мать подошла и в окно заглянула,
И потянуло землей из окна.

— В зимней истоме у матери в доме
Спи, как ржаное зерно в черноземе,
И не заботься о смертном конце.

— Без сновидений, как Лазарь во гробе,
Спи до весны в материнской утробе,
Выйдешь из гроба в зеленом венце.

[1977]

* * *

Красный фонарик стоит на снегу.
Что-то я вспомнить его не могу.

Может быть, это листок-сирота,
Может быть, это обрывок бинта,

Может быть, это на снежную ширь
Вышел кружить красногрудый снегирь,

Может быть, это морочит меня
Дымный закат окаянного дня.

[1977]

* * *

Меркнет зрение — сила моя,
Два незримых алмазных копья;
Глохнет слух, полный давнего грома
И дыхания отчего дома;
Жестких мышц ослабели узлы,
Как на пашне седые волы;
И не светятся больше ночами
Два крыла у меня за плечами.

Я свеча, я сгорел на пиру.
Соберите мой воск поутру,
И подскажет вам эта страница,
Как вам плакать и чем вам гордиться,
Как веселья последнюю треть
Раздарить и легко умереть,
И под сенью случайного крова
Загореться посмертно, как слово.

[1977]

* * *

Просыпается тело,
Напрягается слух.
Ночь дошла до предела,
Крикнул третий петух.

Сел старик на кровати,
Заскрипела кровать.
Было так при Пилате.
Что теперь вспоминать.

И какая досада
Сердце точит с утра?
И на что это надо —
Горевать за Петра?

Кто всего мне дороже,
Всех желаннее мне?
В эту ночь — от кого же
Я отрекся во сне?

Крик идет петушиный
В первой утренней мгле
Через горы-долины
По широкой земле.

[1976]

БОБЫЛЬ

Двор заполонила сорная,
Безнадзорная, узорная,
Подзаборная трава,
Дышит мятой и паслёном,
Шелком шитые зеленым
Простирает рукава.

На дворе трава не кошена,
С похорон гостей непрошено,
И бобыль один в избе
Под окошком с крестовиной,
Заплетенным паутиной,
Спит с сигаркой на губе,

Видит сон про птицу райскую,
Про свою вину хозяйскую
Перед Богом и женой,
Про невзбитую подушку,
Непечатую чекушку
И про тот платок цветной.

[1977]

* * *

Ночью медленно время идет.
Завершается год високосный.
Чуют жилами старые сосны
Вешних смол коченеющий лед.

Хватит мне повседневных забот,
А другого мне счастья не надо.
Я-то знаю: и там, за оградой,
Чей-нибудь завершается год.

Знаю: новая роща встает
Там, где сосны кончаются наши.
Тяжелы черно-белые чаши,
Чуют жилами срок и черед.

[1976]

ЗИМА В ЛЕСУ

Свободы нет в природе,
Ее соблазн исчез,
Не надо на свободе
Смущать ноябрьский лес.

Застыли в смертном сраме
Над собственной листвой
Осины вверх ногами
И в землю головой.

В рубахе погорельца
Идет мороз Кашей,
Прищелкивая тельца
Опавших желудей.

А дуб в кафтане рваном
Стоит, на смерть готов,
Как перед Иоанном
Боярин Колычев.

Прощай, великолепье
Багряного плаща!
Кленовое отрепье
Слетело, трепеща,

В кувшине кислорода
Истлело на весу...
Какая там свобода,
Когда зима в лесу.

[1973]

МАРТОВСКИЙ СНЕГ

По такому белому снегу
Белый ангел альфу-омегу
Мог бы крыльями написать
И лебязью смертную негу
Ниспослать мне как благодать.

Но и в этом снежном застое
Еле слышно о непокое
Сосны черные говорят:
Накипает под их корою
Сумасшедший слезный разлад.

Верхней ветви — семь верст до неба,
Нищей птице — ни крошки хлеба,
Сердцу — будто игла насквозь:
Велика ли его потреба, —
Лишь бы небо впору пришлось.

А по тем снегам из-за лога
Наплывает гулом тревога,
И чужда себе, предо мной
Жизнь земная, моя дорога
Бредит под своей сединой.

[1974]

* * *

Я тень из тех теней, которые, однажды
Испив земной воды, не утолили жажды
И возвращаются на свой кремнистый путь,
Смущая сны живых, живой воды глотнуть.

Как первая ладья из чрева океана,
Как жертвенный кувшин выходит из кургана,
Так я по лестнице взойду на ту ступень,
Где будет ждать меня твоя живая тень.

А если это ложь, а если это сказка,
И если не лицо, а гипсовая маска
Глядит из-под земли на каждого из нас
Камнями жесткими своих бесслезных глаз?..

[1974]

* * *

С безымянного пальца кольцо
В третий раз поневоле скатилось,
Из-под каменной маски светилось
Искаженное горем лицо.

Никому, никогда, ни при ком
Ни слезы, среди людей как в пустыне,
Одержимая вдовьей гордыней,
Одиночества смертным грехом.

Но стоит над могильным холмом
Выше облака снежной колонной
Царский голос ее, просветленный
Одиночества смертным грехом.

Отпусти же и мне этот грех.
Отпусти, как тебе отпустили.
Снег лежит у тебя на могиле.
Снег слетает на землю при всех.

[1974]

МАНЕКЕН

В мастерской живописца сидит манекен
Деревянный, суставчатый, весь на шарнирах,
Откровенный, как правда, в зияющих дырах
На местах сочленений локтей и колен.

Пахнет пылью и тленом, пахнёт скипидаром,
Живописец уже натянул полотно.
Кем ты станешь, натурщик? Не все ли равно,
Если ты неживой и позируешь даром.

Ах, не все ли равно. Подмалевок лилов,
Черный контур клубится под кистью шершавой.
Кисть в союзе с кредитками, краска со славой.
Нет для смежных искусств у поэзии слов.

Кто хозяин твой? Гений? Бездарность? Халтурщик?
Я молве-клеветнице его не предаю,
Потому что из глины был создан Адам.
Ты — пододбье Адама, бесплатный натурщик.

Кто я сам, если плачут и ходят окрест
На шарнирах и в дырах пространство и время,
Многозвездный венец возлагают на темя
И на слабые плечи пророческий крест?

[1969]

* * *

Тот жил и умер, та жила
И умерла, и эти жили
И умерли; к одной могиле
Другая плотно прилегла.

Земля прозрачнее стекла,
И видно в ней, кого убили
И кто убил: на мертвой пыли
Горит печать добра и зла.

Поверх земли мнутся тени
Сошедших в землю поколений;
Им не уйти бы никуда
Из наших рук от самосуда,
Когда б такого же суда
Не ждали мы невесть откуда.

[1975]

* * *

В последний месяц осени,
На склоне
Горчайшей жизни,
Исполненный печали,
Я вошел
В безлиственный и безымянный лес.
Он был по край омыт
Молочно-белым
Стеклом тумана.
По седым ветвям
Стекали слезы чистые,
Какими
Одни деревья плачут накануне
Всеобесцвечивающей зимы.
И тут случилось чудо:
На закате
Забрезжила из тучи синева,
И яркий луч пробился, как в июне,
Из дней грядущих в прошлое мое.
И плакали деревья накануне
Благих трудов и праздничных щедрот
Счастливых бурь, клубящихся в лазури,
И повели синицы хоровод,
Как будто руки по клавиатуре
Шли от земли до самых верхних нот.

<середина 70-х>

* * *

Сколько листвы намело. Это легкие наших деревьев,
Опустошенные, сплюснутые пузыри кислорода,
Кровли птичьих гнездовий, опора летнего неба,
Крылья замученных бабочек, охра и пурпур надежды.
На драгоценную жизнь, на раздоры и примиренья,
Падайте наискось наземь, горите в кострах, дотлевайте,
Лодочки глупых сильфид, у нас под ногами. А дети
Северных птиц улетают на юг, ни с кем не прощаясь.
Листья, братья мои, дайте знак, что через полгода
Ваша зеленая смена оденет нагие деревья.
Листья, братья мои, внушите мне полную веру
В силы и зренье благое мое и мое осязанье,
Листья, братья мои, укрепите меня в этой жизни,
Листья, братья мои, на ветвях удержитесь до снега.

<середина 70-х>

* * *

А все-таки я не истец,
Меня и на земле кормили:
— Налей ему прокисших щец,
Остатки на помойку вылей.

Всему свой срок и свой конец,
А все-таки меня любили:
Одна: — Прощай! — и под венец,
Другая крепко спит в могиле.

А третья у чужих сердец
По малой капле слез и смеха
Берет и складывает эхо,
И я должник, а не истец.

<конец 70-х>

* * *

Бабочки хохочут как безумные,
Вьются хороводы милых дур
По лазурному нагромождению
Стереометрических фигур:
Учит их всей этой математике
Голенький и розовый амур.

Хореографическим училищем,
Карнавальным молодым вином
Отдает июньская сумятица
Бабочек, играющих с огнем,
Перебрасывающихся бисером
Со своим крылатым вожакom.

И уносит их ватагу школьную,
Хрупкую, бездумную, безвольную,
Ветер, в жизнь входящий напролом.

<конец 70-х>

ОТ ЮНОСТИ ДО СТАРОСТИ

1933—1983

* * *

Я не был убит на войне,
Так значит — и вправду везло мне.
Но братья стучатся ко мне:
— И помни, — твердят мне, — и помни...

— И помни, что были у нас
И матери наши, и дети...
— Я умер в погибельный час...
— А я был убит на рассвете...

А жизнь мы любили и в ней
Стремились к единственной цели,
И чем мы любили сильней,
Тем песни счастливее пели.

— Простите меня, что живу,
И я — никуда — ниоткуда.
Вы видите сны наяву.
Какое вам видится чудо?

<начало 1980-х>

ПАМЯТИ ДРУЗЕЙ

Их так немного было у меня,
Все умерли, все умерли. Не знаю,
Какому раю мог бы я доверить
Последнее дыханье их. Не знаю,
Какой земле доверить мог бы я
Этот холодный прах. Одним огнем
Нам опалило щеки. Мы делили
Одну судьбу. Они достойней были
И умерли, а я еще живу.
Но я не стану их благодарить
За дивный дар, мне выпавший на долю.
Я не хотел столь дорогой ценой
Купить его. Мне — их благодарить?
Да разве я посмею им признаться,
Что я дышу, и вдовы их глядят
В глаза мои — пусть не в глаза, а мимо —
Признаться им — без укоризны? Нет,
Я вдов не очерню пред мертвецами,
Вдова пройдет сторонкою и скажет...
Им все равно, что скажут вдовы их.
Благодарить за то, что я хотел бы
На их могилы принести цветы
В живых руках, дыша благоуханьем,
За шагом шаг ступая по траве,

По их траве, когда они лежат
В сырой земле и двинуться не могут.
Что двинуться? Когда их больше нет.
Ни я, ни вы, никто не нужен им.
А я без них — с кем буду хлеб делить,
С кем буду пить вино в мой светлый день,
Кому скажу: какой сегодня ветер,
Как зелена трава и небо сине?

[1945]

* * *

Здесь дом стоял. Жил в нем какой-то дед,
Жил какой-то мальчик. Больше дома нет.

Бомба в сто кило, земля черным-черна,
Был дом, нету дома. Что делать, война!

Куча серых тряпок, на ней самовар,
Шкафчик, рядом лошадь, над лошадью пар.

Вырастет на пустыре лебеда у стены.
Здесь навсегда поселятся бедные духи войны.

А то без них некому будет скулить по ночам,
Свистеть да гулять по нетопленным печам.

[1942]

[Сухиничи]

ПОЛЬКА

Все не спит палата госпитальная,
Радио не выключай — и только.
Тренькающая да беспечальная
Раненым пришлась по вкусу полька.

Наплевать, что ночь стоит за шторами,
Что повязка на культе промокла, —
Дребезжащий репродуктор шпорами
Бьет без удержу в дверные стекла.

Наплевать на уговоры нянины —
Только б свет оставила в палате.
И ногой здоровой каждый раненый
Барабанит польку на кровати.

[1945]

* * *

Смятенъе смутное мне приносят
Горькие веянья весны.
О, как томятся и воли просят
Мои мучительные сны!

Всю ночь напролет голоса убитых
Плача упрашивают из земли:
— Помни кровь на конских копытах,
Помни наши лица в пыли.

Мы не запашем земли восточной,
Глина лежит на глазах у нас,
Кто нас омоет водой проточной,
Кто нас оденет в твой светлый час?

Только и властны над сонным слухом,
Если покажешь нам путь назад,
Мы прилетим тополевым пухом,
Как беспокойные сны летят.

[1944]
[Госпиталь]

Когда была война, поистине как ночь
Была моя душа.

Но — жертва всех сражений —
Как зверь, ощерившись, —
пошла добру помочь
Душа, глотая смерть, —
мой беззащитный гений.

Все на земле живет порукой круговой,
И если за меня покоя веков боролась
Листва древесная —
я должен стать листвою,
И каждому зерну подать я должен голос.

Все на земле живет порукой круговой:
Созвездье, и земля, и человек, и птица.
А кто служил добру, летит вниз головой
В их омут царственный,
и смерти не боится.

Он выплывет еще и сразу, как пловец,
С такою влагою навеки породнится,
Что он и сам сказать не сможет, наконец,
Звезда он, иль земля, иль человек,
иль птица.

[1946]

* * *

За хлеб мой насущный, за каждую каплю воды
Спасибо скажу,
За то, что Адамовы я повторяю труды,
Спасибо скажу.

За этот пророческий, этот бессмысленный дар,
За то, что нельзя
Ни словом, ни птичьим заклатьем спастись от беды,
Спасибо скажу.

За то, что в родимую душную землю сойду,
В траву перельюсь,
За то, что мой путь — от земли до высокой звезды,
Спасибо скажу.

[1945]

* * *

Из просеки, лунным стеклом
По самое горло залитой,
Рулады свои напролом
Катил соловей знаменитый.

Он был и дитя, и поэт,
И силы у вечера нету,
Чтоб застить пленительный свет
Такому большому поэту.

Он пел, потому что не мог
Не петь, потому что у крови
Есть самоубийственный срок
И страсть вне житейских условий.

Покуда при поздней звезде
Бродяжило по миру лихо,
Спокойно в семейном гнезде
Дремала его соловыха.

<начало 80-х>

* * *

Невысокие, сырые
Были комнаты в дому.
Называть ее Марией
Горько сердцу моему.

Три окошка, три ступени,
Темный дикий виноград.
Бедной жизни бедный гений
Из окошка смотрит в сад.

И десятый вальс Шопена
До конца не дозвучит,
Свежескошенного сена
Рядом струйка пробежит.

Не забудешь? Не изменишь?
Не расскажешь никому?
А потом был продан «Рениш»¹,
Только шелк шумел в дому.

Синий шелк простого платья,
И душа еще была

¹ «Рениш» — марка фортепьяно.

От последнего объятия
Легче птичьего крыла.

В листьях, за ночь облетевших,
Невысокое крыльцо
И на пальцах похудевших
Бирюзовое кольцо.

И горячечный румянец,
Серо-синие глаза,
И снежинок ранний танец,
Почерневшая лоза.

Шубку на плечи, смеется,
Не наденет в рукава.
Ветер дунет, снег взовьется...
Вот и все, чем смерть жива.

[1947]

* * *

Меловой да соляной
Твой Славянск родной,
Надоело быть одной —
Посиди со мной...

Стол накрыт на шестерых,
Розы да хрусталь,
А среди гостей моих
Горе да печаль.

И со мною мой отец,
И со мною брат.
Час проходит. Наконец
У дверей стучат.

Как двенадцать лет назад,
Холодна рука
И немодные шумят
Синие шелка.

И вино звенит из тьмы,
И поет стекло:
«Как тебя любили мы,
Сколько лет прошло!»

Улыбнется мне отец,
Брат нальет вина,
Даст мне руку без колец,
Скажет мне она:

— Каблучки мои в пыли,
Выцвела коса,
И поют из-под земли
Наши голоса.

[1940]

ССОРА

Проклятые, сдвинутые брови,
Бирюзы разорванная нить.
Малой капли сумасшедшей крови
Хватит, чтобы разум помутить.

Но не так на женской половине,
Ослепляя дикие глаза,
Прыгала по вытоптанной глине
Крупная больная бирюза.

Девочку зарезали в ауле,
Чтобы улыбнуться не могла,
В дагестанский коврик завернули,
Положили поперек седла.

Разве, на пол бирюзу швыряя,
В серые глаза не загляну,
Разве, камни с пола подбирая,
Рук моих тебе не протяну?

Разве ты напрасно ждешь ответа
На скупые жалобы свои
И не растворилась капля эта
В равнодушной северной крови?

Разве так она горела, злая,
В тот безумный безымянный год,
Разве ангел ревности, сияя,
Азраила шепотом зовет?

Ходит ангел ревности по дому,
Ищет утешения в словах,
Чтобы я терзался по-иному,
А тебя не мучил древний страх.

Иль от поколения к поколению
Выродились ангелы страстей,
Ангел смерти встанет нищей тенью, —
Ровня, слепок ревности моей?

[1941]

* * *

Лучше я побуду в коридоре, —
Что мне делать в комнате твоей?
Пусть глядит неприбранное горе
Из твоих незапертых дверей.

Угол, где стояли чемоданы,
Осторожной пылью занесло.
День опустошенный, тюль туманный,
Туалетное стекло.

Будут гости — не подай и вида,
Что ушла отсюда навсегда:
Все уйдут — останется обида,
Все пройдет — останется беда.

Тихо-тихо, лишь настороженный
Женский голос плачет за стеной,
Дальний голос, голос раздраженный
В нетерпенье плачет надо мной:

— Никому на свете не завидуй,
Я тебя забыла навсегда,
Сердце есть — пускай сожжет обиду,
Пусть в крови перегорит беда.

[1938]

* * *

Какие скорбные просторы,
Какие мокрые заборы
И эта полунагота
Деревьев, эта нищета,
Когда уже скрывать не нужно
Ни жалких слез, ни старых ран,
Как будто в слабости недужной
Всего желанней не обман,
А мелкий дождь, сквозной туман
И тленья вкрадчивый дурман.

Деревья лгут. Зачем все это
Оцепененье желтизны,
Где столько воздуха и света
Тебе напоминает сны,
Когда ты падаешь и знаешь,
Что это — смерть, и, пробудясь,
Почти мгновенно забываешь
С ночными призраками связь?

Не верь деревьям. В эту пору
Они — притворщики. Они
Солгут, что твоему позору
Их обнажение сродни,

Что между сучьями нагими
Есть руки слабые твои,
Что и они могли бы ими
Коснуться неба в забытьи,
Но есть еще соблазн паденья
На лоно матери-земли,
И только смертного томленья
Их листья не превозмогли.

Не верь их нищему покою,
Тебя обманывает он,
Деревьям нужно быть с тобою —
И взять тебя в свой зимний сон;
Озябнуть у холодной дачи
От поздних листьев до корней,
И лгать, что лед в крови горячей
Тем сладостней, чем жить трудней.

[1944]

ПОСВЯЩЕНИЕ

I

Во мне живет глухое беспокойство
Древесных крон, не спящих по ночам,
Я, как стихи, предсказываю свойства,
Присущи людям и вещам.

Затем, что я дышал, как дышит слово,
Я эхот был среди учеников,
Был отголоском голоса чужого,
Затерянного в хоре голосов.

Мир, словно мальчик семилетний, гибок;
Цвела гроза, — он, как дитя, затих,
Но ворох наследственных ошибок
В те дни лежали на руках моих.

Вся жизнь моя пришла и стала рядом,
Как будто вправду много лет прошло,
И мне чужим, зеленоватым взглядом
Ответило зеркальное стекло.

Я вздрагивал при каждом лживом звуке,
Я думал: дай мне руки опростать.
И, просыпаясь, высвободил руки,
Чтоб научиться говорить опять.

Пугаясь, я ощупывал предметы —
Тела медуз в мерцающей воде,
Древесный корень, музыкой согретый,
И мрамор, запрокинутый к звезде.

И я учился говорить, как в детстве,
Своим косноязычием томим.
А если дети вспомнят о наследстве,
Все, что имею, оставляю им.

II

И каждый вспомнит светлый город детства,
Аул в горах, станицу над рекой,
Где от отцов мы приняли в наследство
Любовь к земле, навеки дорогой.

Где матери у наших колыбелей
Ночей не спали, где учились мы,
Где первым вдохновением кипели
Над книгой наши юные умы.

Где в первый раз любили мы, не смея
Признаться в том, где мы росли в борьбе,
Где мы клялись пред совестью своею
В ненарушимой верности тебе...

Шумят деревья городской аллеи,
Как факелы зеленого огня.
Я их отдам, они тебе нужнее,
Приди, возьми деревья у меня.

Приди, возьми весь город мой, он будет
Твоим — и ты заснешь в траве моей.
Свист ласточек моих тебя разбудит,
Я их отдам, они тебе нужней.

Все, чем я жил за столько лет отсюда,
За столько верст от памяти твоей,
Ты вызовешь, не совершая чуда,
Не прерывая сговора теней.

Я первый гость в день твоего рожденья,
И мне дано с тобою жить вдвоем,
Входить в твои ночные сновиденья
И отражаться в зеркале твоём.

III

Как паутина тянется остаток
Всего, что мне казалось дорогим,
И страшно мне, что мнимый отпечаток
Оставляю я наследникам своим.

И может быть, играющие дети,
И обо мне припомнив на лету,
Не отличат бессвязных междометий
От слов, обозначавших слепоту.

Я не был слеп. Я видел все, что было,
Что стало жизнью сверстников моих,
Что время подписью своей скрепило
И пронесло у сонных глаз слепых.

Я видел все, что стало видно зрячим,
Как свет зари сквозь переплет ветвей.
Возьми ж и горечь, что напрасно прячем
От наших дочерей и сыновей.

Так я учился говорить сначала,
И трудный дар я принял в грозный год,
Когда любовь мне щеки обжигала
И смертный к сердцу прижимала лед.

И ревность припадала к изголовью
И на ухо шептала мне:

— Смотри,
Пока ты спишь, затравленный любовью,
Погасли городские фонари.

Я, верная, глаза тебе открою:
Тебя освобождая навсегда,
На простынях, под розовой зарею,
Лежит твоя последняя звезда...

И я бежал от моего порога
Туда, где свет в лицо наотмашь бьет,
По городу гнала меня тревога —
И я увидел молний переплет.

Они летели стаяй лебединой,
Я не считал, их было больше ста,
Летели вдаль над площадью пустынной,
В их клювах колыхалась высота.

Так медленно летели, что казалось, —
Пусть новый день горит у самых глаз, —
Как эта горечь навсегда осталась,
Их отблески останутся у нас.

Возьми же их, они тебе нужнее,
Пусть их коснется детская рука,
И ревности коснись еще нежнее,
Чтобы любовь была тебе легка.

И небо просинело, оживая,
И стала опускаться высота,
И под колеса первого трамвая
Легли торцы высокого моста.

И в час, когда твой город исполинский
Весь в зелени восходит на заре, —
Лежишь, дитя, в утробе материнской
В полупрозрачном нежном пузыре.

И, может быть, ты ничего не видишь,
Но солнце проплывает над тобой...

[1934—1937]

* * *

— Здравствуй, — сказал я, а сердце упало, —
Верно, и впрямь совершается чудо! —
Смотрит, смеется:

— Я прямо с вокзала.

— Что ты! — сказал я. — Куда да откуда?

Хоть бы открытку с дороги прислала.

— Вот я приехала, разве не слышишь,

Разве не видишь, я прямо с вокзала,

Я на минутку к тебе забежала,

А на открытке всего не напишешь.

Думай и делай теперь что угодно,

Я-то ведь рада, что стала свободной...

[1935]

* * *

Кем налит был стакан до половины
И почему нет розы на столе?
Не роза, нет! А этот след карминный,
А этот слабый запах на стекле?

К рассвету соскользнуло одеяло,
И встала ты, когда весь мир затих,
И в смутный час кувшин с водой искала,
И побывала в комнатах моих.

Не твой ли свет — игра воды в стакане?
А на стекле остался легкий след,
Как будто мало мне напоминаний
О той заре, куда возврата нет.

Ты в белом спишь, и ты, должно быть, рада,
Сквозь явь и сон, как белый луч, скользя,
Что о себе мне говорить не надо
И ни о чем напоминать нельзя.

[1939]

* * *

Мне странно, и душно, и томно,
Мне больно, и кажется мне,
Что стал я ладьей на огромной
Бездомной и темной волне.

И нет мне на свете причала,
И мимо идут времена;
До смерти меня укачала
Чужая твоя глубина.

И стоит ли помнить, что прежде,
Когда еще молод я был,
Я верил какой-то надежде
И берег мой горько любил?

Прилива бездушная сила
Меня увела от земли,
Чтоб соль мои плечи точила
И весел моих не нашли.

Так вот что я голосом крови
В просторе твоём называл:
Доверясь последней любви,
Я привязь мою оборвал.

И сам я не знаю, какие
Мне чудятся связи твои
С недоброй морскою стихией,
Качающей наши ладьи.

Качаясь, уходят под воду,
Где рыбы чуть дышат на дне,
Во мглу, в тишину, в несвободу,
Любовью сужденную мне...

[1947]

ИЗ АНАКРЕОНА

Виноградною лозюю
Гнал меня Эрот жестокий
По морозу и по зною,
Через горы и потоки.

Замер я над черной кручей,
Точно пьяный или сонный,
И упал — стрелой певучей
Прямо в сердце пораженный.

И сказал мне бог крылатый:
— Смертный сердца не укроет,
Понапрасну ладит латы,
Понапрасну лиру строит.

Я того, кто ранен мною,
Никогда не забываю:
Раны влагой неземною,
Слезной влагой омываю.

[1935]

НАДПИСЬ К ПОРТРЕТУ БАЙРОНА

Да. Он со мной. Летучее движенье
Прекрасных губ и синий пламень глаз
Тревогой странной проникают в нас
И тайное тревожат сновиденье.

Зеленых вод прозрачное волненье
На той заре он видел в смертный час,
И ветер Ньюстеда трубил и гас
И слышал плач и мрачной лиры пенье.

У скал Афин еще гудел прибой,
Бежала ночь за выгнутой кормой,
Но запах вод был горечью отравлен.

Но сердце было ветром зажжено,
И сталь клинка расправило оно,
И смертный час был в грудь ему направлен.

<1950-e>

ШОТЛАНДСКАЯ ПЕСНЯ

Прощай, прощай, не скучай по мне,
Я скоро соскучусь по дому.
Ты верь: я любила тебя, а теперь
Я буду верна другому.

Идет на запад мой пароход,
Мой город проходит мимо;
Мой друг немолод, угрюм и ревнив,
Глаза холоднее дыма.

Пусть он ни слова не хочет сказать,
Глаза холоднее дыма,
Пусть вдали от родной земли
Не буду я любима.

На жизнь и на смерть я люблю его,
Мне сладок ветер соленый.
Прощай, прощай, мой туманный край,
Мой берег зеленый.

Прощай, прощай, не скучай по мне;
Бессонный дом, прощай, —
Далекие клены, родимый край,
Прощай, мой берег зеленый.

[1936]

МАСЛИЧНАЯ РОЩА

Город Лидий когда-то
В Малой Азии был.
Не кремлем, не рекой, не домами,
Не красотой горожанок,
Не богатством, не красным товаром
Славился этот город.

Приезжали туда не затем,
Чтобы торговлю вести,
Пьянствовать или жениться.
В Лидии возле базара
Небольшая роща была.
Там лежала серая пыль
На листве масличных деревьев,
Тени было немного
Под седыми, безрадостными ветвями,
Где ни птицы, ни мотыльки
Приюта не находили.

Кто ни приехал бы в город,
Мог в эту рощу войти
И, не творя заклинаний,
Выпросить дар у нее.
Но ничего, что на пользу

Вам послужить бы могло,
Ни еды, ни питья, ни одежды,
Ни богатства, ни славы
Не получили бы вы, —
Только бессмысленный дар,
Никому на свете не нужный,
Разве что жалкий цветок
Из тех, что за грош на базаре
Вам уступили бы сотню.

В роще платить приходилось
За все, что в ней получали, —
Будь это воспоминанье,
Пестрое птичье перо
Или шарик стеклянный, —
Странным движением рук
Наподобие буквы «А»
На мгновение в воздухе пыльном
Оставалось это движенье
После того, как ладони
Уже завершали его —
Еле приметный синий
Отсвет, — признак расплаты:
Частицей собственной жизни
Там приходилось платить.

Мало кому был нужен
Город с его чудесами,
А я бы туда поехал,
Вошел бы в маслячную рощу,
Светло-синее «А» начертил.
Получил бы я — бесполезный
Дар бессмысленной песни,
Я бы забыл немоту
На бумаге написанных слов,
Но не запел бы, как птица:

Не хочу я ни цоканий этих,
Мучащих бедные души
Занятых делом людей,
Ни серебряной дробин, ни свиста,
Ни цивинь, от которых до слез
Ближе, чем от земли до созвездий, —
Пел бы я — как земля,
Когда по ней не ступают,
Как деревья, когда их не видят,
Как трава, когда мы забыли,
Что она уже зелена,
Как вода ключевая в пустыне.

Этот город мне снился.
Он, быть может, где-нибудь есть:
Без следа расточиться нельзя
Беспокойным горьким стихам,
На земле не нашедшим приюта,
Снилась мне эта роща,
И пока не истлела тетрадь
И стихи не рассыпались прахом...

Пусть рассыплется прахом,
Пусть травой прорастут,
Обернутся листвою древесной.
Я любил эту землю,
Я жил на этой земле.
Если хотелось мне пить,
Я воду искал ключевую,
Петь я учился у птиц...
Пусть научатся песне хоть камни
С голоса моего.

[1945]

* * *

Все стало таким, будто мост разводят,
Сдвинулось вкривь и вкось,
Ты пришла, но так не приходят,
Слишком долго ждать пришлось.

И стало ясно: пара весел
Тихую воду сведет с ума.
Я бы тебя на землю сбросил,
Если бы ты не пришла сама.

Был после наших речных прогулок
Темен твой бесприютный дом;
Зачем я увидел твой переулок,
Разве ты мало любила в нем?

Твой сон беспокоен, мой стих незвонок,
Крепче железа наша связь,
Помнишь, какой крылатый ребенок
Умер в больнице, едва родясь?

Что же мне делать в замкнутом круге?
Холоден твой недобрый взгляд,
К тебе приходят твои подруги,
Тебя жалеют и мне грозят.

Это — твоя звезда раскололась,
Считать начнешь — не сочтешь обид,
Горло мне душит твоя веселость,
Голова от нее болит.

[1939]

* * *

Да не коснутся тьма и тлен
Июньской розы на окне,
Да будет улица светла,
Да будет мир благословен
И благосклонна жизнь ко мне,
Как столько лет назад была!

Как столько лет назад, когда
Едва открытые глаза
Не понимали, как им быть,
И в травы падала вода,
И с ними первая гроза
Еще училась говорить.

Я в этот день увидел свет,
Шумели ветви за окном,
Качаясь в пузырях стекла,
И стала на пороге лет
С корзинами в руках и в дом,
Смеясь, цветочница вошла.

Отвесный дождь упал в траву,
И снизу ласточка взвилась,

И этот день был первым днем
Из тех, что чудом наяву
Светились, как шары, дробясь
В росе на лепестке любом.

[1933]

* * *

Я вспомнил далекие годы,
Мне снится — я снова стою
Под ранней звездой свободы
В степном неоглядном краю,

Где странник захожий — ошибкой
Мне силу недобрую дал,
И стал я певучим, как скрипка,
И легким от голода стал.

Я долго скитался по свету,
И много растратил я сил,
Но муку блаженную эту,
Певучую силу растил.

И, меркою мера привычной,
Теплом и покоем дразня,
Похлебкой своей чечевичной
Напрасно прельщаешь меня.

Удары судьбы принимая,
Но взыскан высокой судьбой,
Земля мне навеки родная, —
Как равный стою пред тобой.

И стоит мое первородство
Того, чтобы в отчем краю
Нелегкое бремя сиротства
Нести как недолю свою.

[1947]

* * *

О н а:

Кто небо мое разглядит из окна,
Гвоздику мою уберет со стола?
Теперь я твоя молодая жена,
Я девочкой-молнией прежде была —

И в поднятых пальцах моих — не цветок,
А промельк его и твое забытьё,
Не лист на стебле, а стрелы острие,
А в левой — искомканный белый платок.

Любила — в коленчатых травах сады, —
Как дико и молодо сердце мое!
На что же мне буря в стакане воды,
На что мне твой дом и твое забытьё?

О н:

Вернись, я на волю смотрю из окна,
Прости, я тебя призываю опять,
Смотри, как взлетает и плещет она:
Как мог я в стакане ее удержать?

[1933]

МЕДЕМ

Музыке учился я когда-то,
По складам лады перебирал,
Мучился ребяческой сонатой,
Никогда Ганона¹ не играл.

С нотами я приходил по средам, —
Поверну звоночек у дверей,
И навстречу мне выходит Медем
В бумазейной курточке своей.

Неуклюж был великан лукавый:
В темный сон рояля-старика
Сверху вниз на полторы октавы
По-медвежьи падала рука.

И, клубясь в басах, летела свора,
Шла охота в путаном лесу,
Голоса охотничьего хора
За ручьем качались на весу.

Все кончалось шуткой по-немецки,
Голубым прищуренным глазком,
Сединой, остриженной по-детски,
Говорком, скакавшим кувырком.

¹ Г а н о н — руководство по изучению игры на фортепьяно.

И еще не догадавшись, где я,
Из лесу не выбравшись еще,
Я урок ему играл, робея:
Медем клал мне руку на плечо.

Много было в заспанном рояле
Белого и черного огня,
Клавиши мне пальцы обжигали,
И сердился Медем на меня.

Поскучало детство, убежало.
Если я в мой город попаду,
Заблужусь в потемках у вокзала,
Никуда дороги не найду.

Почему ж идешь за мною следом,
Детство, и не выступишь вперед?
Или снова руку старый Медем
Над клавиатурой занесет?

[1933]

* * *

Мне снится какое-то море,
Какой-то чужой пароход,
И горе, какое-то горе
Мне темное сердце гнетет.

Далекie медные трубы
На палубе нижней слышны
Да скрежет, тяжелый и грубый,
Запятнанной нефтью волны.

И если заплачет сирена
Среди расступившихся вод,
Из этого странного плена
Никто никогда не уйдет.

Покоя не знающий странник,
Клянy я чужой пароход,
Я знаю, что это «Т и т а н и к»
И что меня в плаванье ждет.

Мне дико, что там, за кормою,
Вдали, за холодной волной,
Навеки покинутый мною,
Остался мой город родной.

[1941]



Пора бы мне собственный возраст понять,
Пора костылями поменьше стучать,
Забыть о горячке певучей,
Пора наполнять не стихами тетрадь,
А прозой без всяких созвучий.

Пора научиться гореть, не горя,
Пора не дивиться тому, что заря,
Как ранняя юность, тревожна,
Что зори, пожалуй, и светятся зря,
Что жить и без юности можно.

Зачем же по-прежнему вижу во сне
Тот берег крутой, что привиделся мне,
Быть может, еще в колыбели,
Тот гребень гремучий на синей волне,
Тот парус, не знающий цели?

Зачем же мне проза в тетради, когда
Со мною не ты говоришь, а звезда
И парус не хочет покоя?
Сама ты учила в былые года
Тебе не сдаваться без боя.

[1945]

АРДОН¹

I

Я скомкал письмо и коня оседлал.
По сморщенной коже горы,
Царапая ребра обветренных скал,
Кудахча, бежали двory.

Я плетью ременной ударил коня,
Любовью твоей обойден,
И конь мой рванулся и вынес меня
Туда, где клубится Ардон.

Изрубленный насмерть, он был одинок
На бешеном ложе своем,
Взбежать на постылую гору не мог
И ринулся вниз напролом.

А все-таки в памяти он сохранил
Седых берегов забытье,
Сухой известняк безымянных могил
И скифское имя свое.

.

Я знал, ты обидеть хотела меня,
Но память меня охранит

¹ Река на Северном Кавказе.

От ревности, жгущей сильнее огня,
От боли холодных обид.

Я был, как седая река, одиночек,
Любовью твоей обойден,
На гибель тебя променять я не мог,
Но видел кипучий Ардон.

Когда над Ардоном кружил Азраил,
Я думал о нашей судьбе.
И все-таки я навсегда сохранил
Все то, что сокрыто в тебе.

Смотри же, со мною остался навек
Весь жар бытия твоего:
За трепетом полуопущенных век
Недвижных зрачков торжество.

II

И криком орлиным, и хлопаньем крыльев
Гоним, я в долину бежал от гнезда,
На влажные камни я лег обессилев.
— Охотник, ты струсил! — кричала вода.

Я поднял винтовку и выстрелил в пену,
И встала река во весь рост предо мной,
И камни пошли на отвесную стену,
И рыба хлестала в пыли водяной.

Я спал. На земле и любили, и пели,
И может быть, ты приходила сюда,
Но пальцы мои задевали форели
И шла надо мной ледяная вода.

Недаром покоя ты мне пожелала,
Спасибо за память! Я видел во сне:
Бегу, а любовь мне лицо исклевала, —
Ардон этой ночью привиделся мне.

[1936]

* * *

Т. О.-Т.

Как золотая птичка,
Дрожит огонь впотьмах.
В одну минуту спичка
Сгорит в моих руках.

Наверное, такое,
Навек родное мне
Сердечко голубое
Живет в ее огне.

И в этом зыбком свете,
Пусть выпавшем из рук,
Я по одной примете
Узнаю все вокруг.

Мне жалко, что ни свечки,
Ни спичек больше нет,
Что в дымные колечки
Совьется желтый свет.

Невесел и неярок,
На самый краткий срок,
Но будет мне подарок —
Последний уголек.

О, если б жар мгновенный,
Что я в стихи вложил,
Не меньше спички тленной
Тебе на радость жил!

[1944]

Вот Юрьевец, Юрьевец, город какой —
Посмотришь в бинокль на него с высоты —
У самой воды, под самой горой
В две улицы тянется на три версты.

В бинокль поглядеть бы с другой стороны:
Вот лодочка-пристань под флагом стоит,
Бежит пароход из восточной страны
И пленницу-барышню в трюме таит.

Чем спать да гадать юрьевецкой судьбе,
Погнать бы кораблик на серый песок,
А барышню вывести наверх к тебе —
В бинокль поглядеть на чужой городок.

Сказала бы кукла, какую судьбой
За домиком домик стоит бугорком:
У сонной горы над синей водой
Она здесь гуляла в саду городском.

[1933]

* * *

Пес дворовый с улицы глядит в окошко, —
Ну и холод, ветер поземный, холод лютый!
Дома печки натоплены, мурлычет кошка,
Хорошо нам дома: сыты, одеты и обуты.

Меху-то сколько, платков оренбургских, чулок да шалей, —
Понапряли верблюжьего пуху, навязали фуфаяк,
Посидели возле печки, чаю попили, друг другу сказали:
— Вот оно как ведется в декабре у хозяек! —
Подумали, пса позвали: — Оставайся на ночь,
Худо в тридцать градусов — не одету, не обуту.
С кошкой не ссорься, грейся у печки, Барбос Полканыч:
В будке твоей собачьей хвост отморозишь в одну минуту.

[1940]

ПРИМЕЧАНИЯ

Трехтомное Собрание сочинений А. А. Тарковского — наиболее полное издание, в котором представлены его оригинальные стихи и поэмы, переводы, рассказы, воспоминания, статьи и заметки об искусстве и литературе. В первый том вошли стихи из прижизненных сборников поэта. Второй том составили поэмы, стихотворения А. А. Тарковского, опубликованные в периодике, стихотворения, публикующиеся впервые, и проза поэта — рассказы, статьи, эссе, воспоминания. Третий том включает избранные переводы поэта.

При определении структуры издания составитель исходил из общепринятого принципа соблюдения последней авторской воли. Наиболее полным прижизненным изданием произведений А. А. Тарковского является «Избранное» 1982 года. Оно составлено на основе 6 оригинальных сборников, но расположение и состав разделов (книг) в «Избранном» довольно существенно отличается от первоизданий этих книг. Составитель ориентировался прежде всего на «Избранное»: в примечаниях указываются случаи расхождения между временными границами книги и датой написания стихотворения. Так, в «Избранном», в разделе «Гостья-звезда», включающем стихи 1929—1940 годов, есть стихотворения 40-х и даже 70-х годов. Укажем на особенность датировки поэтом разделов «Избранного»: вторая дата в подзаголовках разделов указывала на год выхода одноименного сборника, хотя стихотворений, написанных в этот год, в сборнике могло и не быть.

Составитель счел возможным отступить от «Избранного» при публикации в полном виде стихотворных циклов «Чистопольская тетрадь», «Памяти М. И. Цветаевой» и «Памяти А. А. Ахматовой». При жизни А. А. Тарковского эти циклы публиковались, как правило, не полностью — из-за изъятий, связанных с цензурными условиями прошлых лет (об этом, в частности, свидетельствуют пометки автора в некоторых машинописных сборниках).

Стихотворения, публиковавшиеся при жизни автора лишь в периодике, и стихотворения, при жизни автора не публиковавшиеся, представлены в соответствующих разделах в хронологическом порядке, поскольку нет ясно выраженной авторской воли о включении их в тот или иной сборник. В машинописных и рукописных сборниках эти стихотворения, как правило, помещены в определенные книги, но невключение их в прижизненные издания и побуждает представить эти произведения в отдельных разделах.

Что касается публикации произведений, издающихся впервые, в том числе ранних, юношеских, то такая публикация диктуется желанием наиболее полного издания творческого наследия поэта. Сошлемся здесь (как и составители трехтомного Собрания сочинений Н. А. Заболоцкого), на весьма справедливые рассуждения Д. Самойлова: «Я думаю, что живые в этом вопросе не должны полностью считаться с поэтом. Когда он умер, нужно издавать все, что осталось. Насколько меньше было бы Пушкина, если бы пропали для нас его заметки, строки, неоконченные стихи — все, что осталось помимо «достроенного дома». Но достоинство поэта в том и заключается, что он желает оставить дом таким, каким его он задумал сам. А потомки из оставшегося материала пусть построят еще один дом или пристройку. И поэт в целом есть эти два дома» (Воспоминания о Заболоцком. М., 1977, с. 305).

Стихотворения датируются по прижизненным изданиям, машинописным и рукописным автографам. Даты по прижизненным изданиям даны без скобок. Авторские даты, поставлен-

ные по автографам, заключены в квадратные скобки. В случае, если дата установлена по косвенным признакам, она заключена в угловые скобки.

Примечания в тексте, кроме особо оговоренных, принадлежат автору.

Тексты настоящего издания выверены по следующим источникам:

1. Прижизненные издания сборников стихов А. А. Тарковского.

2. Корректурa невышедшего сборника «Стихотворения разных лет» («Советский писатель», 1946); (хранится в архиве поэта, принадлежащем Т. А. Озерской-Тарковской).

3. Машинописный сборник «Собеседник», составленный А. А. Тарковским в 1958 г.

4. Машинописный сборник «Земле — земное», составленный А. А. Тарковским в 1966 г.

5. Рукописный сборник «Первая тетрадь», составленный А. А. Тарковским в 1948 г.

6. Рукописный сборник «Избранные стихотворения в двух частях», составленный А. А. Тарковским в 1965—1977 гг.

7. Отдельные машинописные и рукописные автографы, хранящиеся в архиве поэта.

8. Периодическая печать.

УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ В ПРИМЕЧАНИЯХ

Вестник — Тарковский А. Вестник. М., «Советский писатель», 1969.

Волшебные горы — Тарковский А. Волшебные горы. Тбилиси, «Мерани», 1978.

День поэзии — альманах «День поэзии». М., «Советский писатель».

ДН — журнал «Дружба народов».

Земле — земное — Тарковский А. Земле — земное. М., «Советский писатель», 1966.

Земле — земное маш. — машинописный сборник, подготовленный А. А. Тарковским в 1966 г.

Избр. — Т а р к о в с к и й А. Избранное. М., «Художественная литература», 1982.

Избр. стихотворения — рукописный сборник в 2-х тетрадях, составленный поэтом в 1965 — 1977 гг.

Корр. 1948 — корректура сборника А. Тарковского «Стихотворения разных лет», подготовленного издательством «Советский писатель» в 1946 г.

ЛА — журнал «Литературная Армения».

ЛГ — Литературная газета.

НМ — журнал «Новый мир».

От юности до старости — Т а р к о в с к и й А. От юности до старости. М., «Советский писатель», 1987.

Собеседник — машинописный сборник 1985 г.

Стихотворения — Т а р к о в с к и й А. Стихотворения. М., «Художественная литература», 1974.

Первая тетрадь — рукописный сборник А. А. Тарковского 1948 г.

Перед снегом — Т а р к о в с к и й А. Перед снегом. М., «Советский писатель», 1962.

С Т И Х О Т В О Р Е Н И Я

ГОСТЬЯ-ЗВЕЗДА

(1929—1940)

Впервые эта книга появилась в *Стихотворениях* в качестве первого раздела. Ее временные границы 1929—1940 годы, хотя и в *Стихотворениях* и в *Избранном* они несколько раз нарушены, и в «Гостью-звезду» включены стихи более позднего периода. Есть и обратные случаи — когда стихи, в рукописных сборниках включавшиеся поэтом в данный раздел, позднее перенесены в последующие книги. Все подобные случаи оговорены в примечаниях.

Перед листопадом (с. 27). — Впервые: *Земле — земное*. В *Первой тетради* в первоначальной редакции последние строфы читались:

Разве я в комнате узкой не вправе
Слышать, что листья шуршат за окном,
И рассыпается розовый гравий
Под осторожным ее каблуком,
Что в законном, тревожном покое,
От синевы ничего не тая,
Слышу — и не понимаю, на что ей
Темная нежность и память моя?

Прохожий (с. 28). — Впервые: *Земле — земное*. В *Первой тетради* под названием «25 июня 1931».

Колыбель (с. 29). — Впервые: *Земле — земное*. Посвящено сыну поэта Андрею Тарковскому (1932—1986).

«Река Сугакля уходит в камыш...» (с. 31). — Впервые: *Вестник*. Сугакля — река в окрестностях гор. Кировограда, в котором прошло детство поэта.

Дом (с. 32). — Впервые: *Вестник*.

«Зеленые рощи, зеленые рощи...» (с. 33). — Впервые: *Избранное*. Дата написания стихотворения выходит за хронологические рамки, указанные автором в подзаголовке.

«Под сердцем травы тяжелеют росинки...» (с. 34). — Впервые: *Вестник*.

«Если б, как прежде, я был горделив...» (с. 35). — Впервые: *Вестник*. В *Первой тетради* последняя строфа начиналась:

Только — со мною остался рассвет.

Ночной дождь (с. 36). — Впервые: *Земле — земное*. Стихотворение датировано 1943 г. Очевидно, включено в раздел «Гостья-звезда» потому, что в *Земле — земное* находилось в разделе «Первые свидания» — вместе с довоенными стихотворениями.

«Записал я длинный адрес на бумажном лоскутке...» (с. 37). — Впервые: *Перед снегом*. В *Первой тетради* с эпиграфом: «...Архитектурные сочетания линий имеют, конечно, свою тайну. *Достоевский*».

«Я боюсь, что слишком поздно...» (с. 38). — Впервые: *Перед снегом*. Дата написания стихотворения выходит за хронологические рамки, указанные автором в подзаголовке.

Страус в 1913 году (с. 40). — Впервые: *Стихотворения*. В *Собеседнике* датировано 1945 годом.

Град на Первой Мещанской (с. 41). — Впервые: *Земле — земное*.

25 июня 1935 года (с. 42). — Впервые: *Перед снегом*. *Хорош ли праздник мой...* — 25 июня — день рождения А. А. Тарковского.

«Отнятая у меня, ночами...» (с. 43). — Впервые: *Вестник*. В *Избр. стихотворениях* ошибочно датировано 4 марта 1968 г.

Игнатьевский лес (с. 44). — Впервые: *Земле — земное*. Летом и осенью 1935 г. поэт с семьей жил в подмосковном селе Игнатьево, на хуторе Горчакова.

«Когда купальщица с тяжелою косою...» (с. 45). — Впервые: *Перед снегом*, с ошибочной датой «1936». В *Первой тетради* дата написания «28 июня 1946».

Мельница в Даргавском ущелье (с. 46). — Впервые: *Земле — земное*. В *Первой тетради* датировано 24.VIII.1935 с добавлением «испр. 48, 23/XII».

Портрет (с. 47). — Впервые: *Земле — земное*.

«Я так давно родился...» (с. 48). — Впервые: *Земле — земное*, под названием «Я уже слышала эту песню».

Дождь (с. 50). — Впервые: *Вестник*.

25 июня 1939 года (с. 51). — Впервые: *Вестник*. В *Первой тетради* под названием «25 июня 1940». Последние строки читались:

И совесть жжет, и в светлый день рожденья
Подспудная меня тревога мучит, —
Что сделал я с высокою судьбою,
С моей судьбой, что сделала я с собою?

Дождь в Тбилиси (с. 52). — Впервые: *Перед снегом*. «Ты, что бабочкой черной и белой...» (с. 54). —

Впервые: *Волшебные горы*. В *Избр. стихотворениях* датировано 1.V.1946.

«С утра я тебя дожидался вчера...» (с. 55). — Впервые: *Земле — земное* под названием «Вчера и сегодня». В *Первой тетради* датировано «2 января 1941». По поводу этого стихотв. см. заметки «Что входит в мое понимание поэзии» (т. 2 наст. изд.).

Я л и к (с. 56). — Впервые: *Земле — земное*.

З в е з д н ы й к а т а л о г (с. 52). — Впервые: *Земле—Земное*. *Альфа Ориона* — самая яркая звезда в созвездии Ориона. Тематика этого и ряда других «звездных» стихотворений связана с увлечением А. А. Тарковского астрономией. Поэт хорошо знал атлас звездного неба; в 50-е годы он даже руководил секцией построения любительских приборов во Всесоюзном астрономо-геодезическом обществе (ВАГО).

Ц е й с к и й л е д н и к (с. 58). — Впервые: *Перед снегом* с ошибочной датой «1948».

С в е р ч о к (с. 59). — Впервые: *Земле — земное*. В *Избр. стихотворениях* приписка А. А. Тарковского: «Заповедную» во втором стихе — эпитет придуман М. Цветаевой вместо моего, кот<орый> ей не понравился».

ПЕРЕД СНЕГОМ

(1941—1962)

Это первая изданная поэтическая книга А. А. Тарковского. В 1946 году в издательстве «Советский писатель» готовилась книга поэта «Стихотворения разных лет». Она была набрана и заматрицирована, когда появилось печально известное и ныне отмененное постановление ЦК ВКП (б) о журналах «Звезда» и «Ленинград». Издательство, решив переждать волну, вызванную постановлением, отложило выход книги на более поздний срок. Но затем сменился главный редактор издательства, и новый руководитель дал указание отправить книгу Тарковского на рецензию критику Е. Книпович. Рецензия оказалась резко отрицательной. По воспоминаниям вдовы поэта Т. А.

Озерской-Тарковской, в ней заявлялось, что Тарковский принадлежит к тому же «Черному Пантеону», что и Ахматова, Мандельштам, Гумилев и Ходасевич. Матрицы книги были уничтожены. Сохранилось три экземпляра чистых листов — один в архиве А. А. Тарковского, другой в собрании известного библиофила А. Тарасенкова, третий в архиве К. Симонова.

Поэт был глубоко ранен трагической судьбой своей первой поэтической книги и не хотел даже слышать о новой попытке издания. В начале 60-х годов с помощью друга поэта писателя В. Витковича Т. А. Озерская-Тарковская с трудом добилась согласия А. А. Тарковского на то, чтобы она составила и предложила книгу «Перед снегом» издательству «Советский писатель». На сей раз попытка оказалась удачной, и вышедшая книга сделала имя Арсения Тарковского известным широкому кругу любителей поэзии.

Одной из первых сборник «Перед снегом» высоко оценила А. А. Ахматова. Сохранилась ее рецензия на эту книгу, к сожалению, опубликованная только после смерти Ахматовой. В рецензии говорилось: «Сборник стихов Арсения Тарковского «Перед снегом» — неожиданный и драгоценный подарок современному читателю. Эти долго ожидавшие своего появления стихи поражают рядом редчайших качеств. Из них самое поразительное то, что слова, которые мы как будто произносим каждую минуту, делаются неузнаваемыми, облеченными в тайну и рождают неожиданный отзвук в сердце.

Я тот, кто жил во времена мои,
Но не был мной. Я младший из семьи
Людей и птиц, я пел со всеми вместе
И не покину пиршества живых...

Как вечно и в то же время современно это звучит! Он уже ожил «на пиршестве живых» и рассказал нам много о себе и о нас.

Этот новый голос в русской поэзии будет звучать долго. Огромные пласты работы чувствуются в стихах книги «Перед снегом». Чувствуется, что поэт прошел через ряд более или

менее сильных воздействий предшественников и современников (сейчас они скорее угадываются).

Тем, у кого нет этой книги, я советую как-нибудь достать ее, чтобы судить о ней самым строгим судом. Эта книга ничего не боится» (А х м а т о в а А. А. Сочинения в 2-х томах, т. 2. М., 1990, с. 244—245).

I

Т о л ь к о г р я д у щ е е (с. 61). — Впервые: *Перед снегом*, без названия. В *пятнадцатирублевый номер мой...* — Имеется в виду дореформенная цена (стихотворение датировано 1960 г.).

Р у к и (с. 63). — Впервые: *Перед снегом*.

К с т и х а м (с. 64). — Впервые: *Перед снегом. И я раздвинул жар березовый, // Как заповедал Даниил...* — Даниил — легендарный еврейский праведник и пророк-мудрец, прошедший через многие испытания. Тарковский имеет в виду эпизод из «Книги пророка Даниила», когда трех отроков, товарищей Даниила, упорно отстаивавших свою веру, вавилонский царь Навуходоносор приказал бросить в разожженную печь, но они остались живы.

«Я учился траве, раскрывая тетрадь...» (с. 65). — Впервые: *Перед снегом*.

С т е п ь (с. 67). — Впервые: *Перед снегом*, без названия. Третья строфа в первоначальной редакции читалась:

А степь лежит, как Ниневия,
И на курганах валуны
Спят, как цари сторожевые,
Опившись оловом луны.

Позднее строфа была изменена из-за того, что кто-то убедил А. А. Тарковского в том, что в слове Ниневия правильное ударение падает не на третий, а на второй слог. На самом деле допускаются оба варианта ударения. *Ниневия* — древний город Ассирии (современный Ирак) на берегу реки Тигр, при царе Ашшурбанипале столица Ассирии.

Стань самим собой (с. 69). — Впервые: *Перед снегом* под названием «Werde der du bist», которое потом перешло в эпиграф, а русский перевод эпиграфа («Стань самим собой») поэт вынес в заглавие. По поводу этого стихотворения А. Тарковский говорил: «Требование Гете я понимаю как формулу тенденции закрепления типичности при исчерпывающем выявлении индивидуальности. Типичность столь свойственна человеку, что я уверен в невозможности создания стихотворения, которое не стало бы кредо большей* или меньшей группы людей. Духовная сущность человека, его этические идеалы, чувство ответственности перед каждой каплей крови — это типичное. Чувство ритма мира, чувство гармонии, любовь и нелюбовь, эстетический идеал, вера в свое видение мира — это личностный канон. Эти качества составляют душу поэта. Или должны составлять» (ЛГ, 1977, 12 янв., с. 6).

С л о в о (с. 71). — Впервые: *Вестник*.

«Я прощаюсь со всем, чем когда-то я был...» (с. 73). — Впервые: *Перед снегом*.

«Я долго добивался...» (с. 75). — Впервые: *Перед снегом*.

К а к т у с (с. 77). — Впервые: *Перед снегом*.

Д е р е в о Ж а н н ы (с. 78). — Впервые: *Перед снегом*, без названия. Имеется в виду Жанна д'Арк (ок. 1412—1431), народная героиня Франции, канонизированная как святая католической церковью. *Пусть коронован твой король...* — В 1429—1430 гг. Жанна д'Арк возглавила борьбу против англичан и после освобождения Орлеана в Реймском соборе возложила корону на голову французского короля Карла VII. Однако, когда Жанна д'Арк попала в плен к бургундцам, была продана англичанам и приговорена судом инквизиции к сожжению, Карл VII не сделал ничего для ее спасения.

«Вы, жившие на свете до меня...» (с. 80). — Впервые: *Перед снегом*. Данте Алигьери (1265—1321) — знаменитый итальянский поэт, автор «Божественной комедии». *Скиапарелли Джованни Вирджинио* (1835—1910) — итальянский астроном, первым обнаруживший на Марсе сеть прямых линий, которые он назвал «каналами». Вера в существование на Марсе

разумной жизни была детской верой поэта, которой он дорожил и в последующие годы.

К ó р а (с. 81). — Впервые: *Перед снегом* под названием «Акрополь. Кóра». *Кóра* (Персефона) — в греческой мифологии дочь Зевса и богини плодородия и земледелия Деметры, супруга Аида, который с разрешения Зевса похитил Кору и умчал в свое царство мертвых. Госковавшая по дочери Деметра наслала на землю засуху и неурожай, и Зевс заставил Аида вернуть Кору на землю. Однако Аид заставил Кору вкусить зернышко граната — с тем чтобы она не забыла царство смерти и снова вернулась к нему.

С о к р а т (с. 82). — Впервые: *Перед снегом. Сократ* (ок. 470—399 до н. э.) — древнегреческий философ, ставший олицетворением человечности, стойкости, бесстрашия и справедливости. *Дано и вам, мою цикуту пьющим...* — По ложному обвинению в растлении юношества и поклонении «новым божествам» афинский суд заставил Сократа выпить чашу с ядом (цикутой).

К а р л о в ы В а р ы (с. 83). — Впервые: *Перед снегом*.

У т р о в В е н е (с. 84). — Впервые: *Перед снегом*.

А н ж е л о С е к к и (с. 85). — Впервые: *Перед снегом* под названием «Анжело Секки, астроном». *Секки* Анджело (или Анжело) (1818—1878) — итальянский астроном, с 1849 г. директор Римской обсерватории. В одном из интервью А. Тарковский говорил: «Книгой, очаровавшей меня в детстве, были «Астрономические вечера» Клейна. В ней рассказывалось, в частности, и о драматической судьбе великого итальянского астронома Секки, впервые применившего спектральный анализ к исследованию Солнца. В пору одной из политических бурь итальянского XIX века он был вынужден покинуть свою обсерваторию и возвратился в нее уже полуслепым стариком для того, чтобы навсегда попрощаться с любимым телескопом. Впечатление от этой книги оказалось для меня ничуть не слабей впечатления от «Пиноккио» Коллоди, «Дон Кихота», от многих других наилучших книг» (ЛГ, 1977, 12 янв., с. 6). А вот комментарий поэта из другого интервью: «Когда после долгого изгнания он вернулся перед смертью в Рим, в свою обсерваторию, то,

прощаясь с любимым астрономическим прибором, экваториалом системы Мерца, говорил: «Прости, мой дорогой мерцовский экваториал!» Я написал это стихотворение оттого, что чувствовал духовное родство с Анжело Секки...» (Химия и жизнь, 1982, № 7, с. 84). *Экваториал* — телескоп на паралактической монтировке, поворачивающийся вокруг полярной оси со скоростью 1 оборот за 24 часа, что позволяет постоянно наблюдать один и тот же участок небесной сферы.

«Пускай меня простит Винсент Ван Гог...» (с. 87). — Впервые: *Перед снегом. Винсент Ван Гог (1853—1890)* — голландский художник; покончил жизнь самоубийством. В книге «Вечерний день» В. Каверин пишет: «...Помню я и другой разговор после одного из чтений Арсения Александровича. Он был тогда в отчаянии — это была трудная полоса в истории нашей литературы и его почти не печатали. Я ни минуты не сомневался в том, что он будет признан, потому что его поэзия нужна и, стало быть, он отвечает не только за себя, а за нас всех.

— Вы доказали это!

И я процитировал:

Пускай меня простит <Винсент> Ван Гог
За то, что я помочь ему не мог.

И:

Унизил бы я собственную речь,
Когда б чужую ношу сбросил с плеч.

Читая Тарковского, с радостью убеждаешься, что русская поэзия — чудо...» (Каверин В. Вечерний день. М., 1980, с. 253—254).

Балет (с. 89). — Впервые: *Перед снегом*.

В музее (с. 91). — Впервые: *Перед снегом. Я проклинаю тиару Шамшиадада...* — Шамши-Адад I — ассирийский царь XVIII в. до н. э.

Переводчик (с. 92). — Впервые: *Перед снегом. Да пребудет роза редифом...* — Редиф (букв.: сидящий позади всадника) — специфический прием поэзии народов Востока, когда в

конце каждой строки (или в конце строфы) повторяется одно и то же ключевое слово (либо группа слов).

«Порой по улице бредешь...» (с. 94). — Впервые: *Перед снегом*. В *Избр. стихотворениях* — с третьей строфой:

Не то, чтоб встретился тебе
Сам Пушкин возле новой чайной,
И стало все в твоей судьбе
Удачей и волшебной тайной.

Могила поэта (с. 96). — Как цикл впервые: *Стихотворения*.

I. «За мертвым сиротливо и пугливо...» — Впервые: *Земле — земное*, под названием «После похорон Н. А. Заболоцкого».

II. «Венков еловых птичьих лапки...» — Впервые: *Перед снегом*, под названием «Могила поэта» с посвящением Н^{иколаю} З^{аболоцкому}. «Я был связан с Заболоцким приятельством, — рассказывал А. Тарковский. — Под «черепом века» в моих стихах имеется в виду вместилище мозга, ибо Заболоцкий был глубоко мыслящим поэтом. Я сразу полюбил его первую книгу «Столбцы». В ней выразилось почитание природы как сложного цельного организма, что получило развитие в более поздних стихах поэта (он переписывался с Константином Циолковским, и многое в его поэзии идет от «монизма» основоположника космонавтики). Кроме того, в стихах Заболоцкого ярко выражена ненависть к порокам века» (ЛА, 1983, № 4, с. 45).

В дороге (с. 98). — Впервые: *Перед снегом*, без названия.

Земное (с. 99). — Впервые: *Перед снегом*, без названия.

II

. Близость войны (с. 100). — Впервые: *Земле — земное*, с ошибочной датой «1938». В *Избр. стихотворениях* датировано (в названии) «25 июня 1939».

Чистопольская тетрадь. — Как цикл впервые в наст. изд. Печатается по *Избр. стихотворениям*. Поэт предпри-

нимал попытки опубликовать большинство стихов из цикла, но до 1987 г. в его книгах были напечатаны только два стихотворения из «Чистопольской тетради». В *Земле — земное маш.* есть записи поэта об изъятии ряда стихотворений данного цикла поэтической редакцией издательства «Советский писатель» при подготовке книги «Земле — земное». В городе Чистополе Татарской АССР А. Тарковский находился в октябре — декабре 1941 г. вместе с эвакуированными сюда писателями. В декабре 1941 г. поэт добровольцем ушел на фронт.

I. «Льнут к господнему порогу...» (с. 101). — Впервые: *НМ*, 1987, № 5.

II. «Беспомощней, суровее и суше...» (с. 103). — Впервые: *Знамя*, 1987, № 6.

III. «Вложи мне в руку Николин образок...» (с. 104). — Впервые: *Юность*, 1987, № 6.

IV. *Беженец* (с. 105). — Впервые: *Вестник*.

V. «Дровяные, погонные возвожу алтари...» (с. 106). — Впервые: *НМ*, 1987, № 5.

VI. «Смерть на все накладывает руку...» (с. 107). — Впервые: *НМ*, 1987, № 5.

VII. «Нестерпимо во гневе караешь, Господь...» (с. 108). — Впервые: *Знамя*, 1987, № 6. *Себастьян* — имеется в виду Иоганн Себастьян Бах.

VIII. «Упала, задохнулась на бегу...» (с. 109). — Публикуется впервые.

IX. «Вы нашей земли не считаете раем...» (с. 110). — Впервые: *Вестник*.

X. «Зову — не отзывается, крепко спит Марина...» (с. 111). — Впервые: *Юность*, 1987, № 6, под названием «Елабуга». Стихотворение посвящено М. И. Цветаевой. В Чистополе А. Тарковский с запозданием узнал о ее самоубийстве, которое произошло 31 августа 1941 г. См. также примечания к циклу «Памяти М. И. Цветаевой».

Суббота, 21 июня (с. 112). — Впервые: *Перед снегом*.

«Русь моя, Россия, дом, земля и мать!...» (с. 114). — Впервые: *Перед снегом*.

«Тебе не наскучило каждому сниться...» (с. 116). — Впервые: *Перед снегом. Зегзица* (старослав.) — кукушка. Стихотворение во многом навеяно образами «Слова о полку Игореве».

Проводы (с.118). — Впервые: *Перед снегом*, без названия.

«Чего ты не делала только...» (с. 119). — Впервые: *Перед снегом*.

Портной из Львова, перелицовка и починка (Октябрь, 1941) (с. 122). — Впервые: *Земле — земное*, без пятой строфы. В *Собеседнике* стихотворение озаглавлено «Чарли», первый стих четвертой строфы первоначально читался: «Чарли, колос божьей нивы...», шестая строфа:

Берегитесь, бедный Чарли,
Начинается пальба,
И на город черной марлей
Опускается судьба.

«Хорошо мне в теплушке...» (с. 124). — Впервые: *Перед снегом*.

«Ехал из Брянска в теплушке слепой...» (с. 126). — Впервые: *Вестник*.

Песня под пулями (с. 127). — Впервые: *Перед снегом*.

«На черной трубе погорелого дома...» (с. 128). — Впервые: *Перед снегом*.

«Стояла батарея за этим вот холмом...» (с. 129). — Впервые: *Перед снегом*.

Полевой госпиталь (с. 130). — Впервые: *День поэзии 1964*. Отступление от хронологических рамок раздела. Включено в раздел по принципу тематической близости.

Бабочка в госпитальном саду (с. 132). — Впервые: *Земле — земное*.

Земля (с. 134). — Впервые: *Перед снегом*.

Иванова ива (с. 135). — Впервые: *Перед снегом*.

Охота (с. 136). — Впервые: *Земле — земное*, без второй строки: «Меня затравили». В *Избр. стихотворениях* первоначаль-

начально под названием «Актеон». *Актеон* — в греческой мифологии страстный охотник, превращенный богиней Артемидой в оленя за то, что увидел ее обнаженной во время купания.

Чем пахнет снег (с. 137). — Впервые: *Перед снегом*.

После войны (с. 140). — Впервые: *Вестник*, без четвертого стихотворения. Отступление от хронологических рамок раздела. Включено в раздел по принципу тематической близости.

1. «Как дерево поверх лесной травы...» — Впервые: *Вестник*.

2. «Меня хватило бы на все живое...» — Впервые: *Вестник*. В *страданиях* *немыслимых, как Марсий...* — Марсий — персонаж древнегреческих мифов, сатир, достигший необычайного искусства в игре на флейте. Возгордившись, Марсий вызвал на состязание самого Аполлона. Бог победил Марсия и содрал с него кожу.

3. «Бывает в летнюю жару лежишь...» — Впервые: *Вестник*.

4. «Как дерево с подмытого обрыва...» — Впервые: *Избранное*. *Уходишь, Лазарь?* — Лазарь — по христианскому преданию, человек, воскрешенный Христом спустя четыре дня после погребения (Евангелие от Иоанна, 11).

5. «Приди, возьми, мне ничего не надо...» — Впервые: *Вестник*.

Предупреждение (с. 143). — Впервые: *Стихотворения*. В *Земле — земное маш.* есть пометка поэта об изъятии редакцией этого стихотворения из готовящейся книги. В *Земле — земное маш.* первоначально называлось «Два голоса». *Развеем число Галилея...* — Галилей Галилео (1564—1642) — итальянский физик, механик, астроном, поэт и филолог. Число Галилея (иначе: принцип относительности Галилея) — формула соотношения между скоростями движения точки и ее ускорениями в инерциальной покоящейся системе и инерциальной системе, движущейся по отношению к первой с постоянной скоростью.

Зуммер (с. 144). — Впервые: *Перед снегом*, без названия.

III

«Снова я на чужом языке...» (с. 145). — Впервые: *Перед снегом*.

«Вечерний, сизокрылый...» (с. 146). — Впервые: *Перед снегом*, без посвящения. Т.О.-Т. — Посвящено жене поэта Татьяне Алексеевне Озерской-Тарковской.

Титания (с. 147). — Впервые: *Перед снегом*, без названия. Титания — царица лесных фей.

«Сирени вы, сирени...» (с. 148). — Впервые: *Перед снегом*.

«Жизнь меня к похоронам...» (с. 149). — Впервые: *Стихотворения*.

«Мне в черный день приснится...» (с. 151). — Впервые: *Перед снегом*.

IV

Затмение солнца. 1914 (с. 153). — Впервые: *Перед снегом*. Тематически связано с рассказом «Солнечное затмение» (см. т. 2 наст. изд.).

Елена Молоховец (с. 155). — Впервые: *Перед снегом*. Елена Молоховец — автор широко известных в начале века кулинарных книг.

Юродивый в 1918 году (с. 156). — Впервые: *Перед снегом*.

«Мы шли босые, злые...» (с. 158). — Впервые: *Перед снегом*.

«Встали хлопцы золотые...» (с. 159). — Впервые: *Перед снегом*.

Стихи из детской тетради (с. 161). — Впервые: *Перед снегом*. И могла бы Алкеева лира // У меня оказаться в наследстве... — Алкей (конец 7—1-я половина 6 в. до н. э.) — древнегреческий поэт.

«Кухарка жирная у скаред...» (с. 163). — Впервые: *Перед снегом*.

Вещи (с. 165). — Впервые: *Перед снегом*. Где «Остров мерт-

вых» в декадентской раме?..— «Остров мертвых» — известная картина швейцарского художника Арнольда Беклина (1827—1901), написанная в 1880 г. и повлиявшая на развитие немецкого символизма и югендстиля (стиля модерн).

Фот о г р а ф и я (с. 167). — Впервые: *Перед снегом*. Посвящено дочери известного фотографа М. С. Наппельбаума, автора фотопортретов многих русских и советских литераторов.

Г р е ч е с к а я к о ф е й н я (с. 168). — Впервые: *Перед снегом*.

В е р б л ю д (с. 169). — Впервые: *Перед снегом*. В *Собеседнике* последняя строфа читалась:

А все-таки жизнь хороша,
И мы в ней чего-нибудь стоим,
И может привыкнуть душа
К пустыне, тюка́м и побоям.

V

М о т ы л е к (с. 171). — Впервые: *Перед снегом*, без названия.

П о с р е д и н е м и р а (с. 172). — Впервые: *Перед снегом*, без названия. В стихотворении выражена вера А. А. Тарковского в антропоцентрическое устройство мира. По этому поводу поэт говорил: «Человек занимает центральную позицию относительно макро- и микромира. Техническое вооружение цивилизации дало возможность заглянуть в глубь обоих миров. Человек центроположен также и по свойству своих впечатлений: человеческий разум вмещает в своих пределах Вселенную. Такой взгляд на человека и отразился в моих стихах» (*Химия и жизнь*, 1982, № 7, с. 84). *Иеремия* — библейский пророк.

М а л ю т к а - ж и з н ь (с. 173). — Впервые: *Перед снегом*, без названия.

Г о л у б и (с. 174). — Впервые: *Перед снегом*.

Д е р е в ь я (с. 175). — Как цикл впервые: *Стихотворения*.

I. «Чем глуше крови страстный ропот...» — Впервые: *Перед снегом*, под названием «Деревья».

II. «Державы птичьей нищеты...» — Впервые: *Земле — земное*, под названием «Деревья».

В *Собеседнике* цикл первоначально завершало третье стихотворение:

Кто вы? Сверстники? Братья мои? Как беспомощно дик
Полный воспоминаний ваш бедный и темный язык.

То младенческий лепет, то старческий ропот листвы.
Я не знаю, зачем и кого заклинаете вы.

Кто, скажите, в дремучую вашу столицу вошел?
Почему наклоняется в латы закованный ствол?

Шумный плащ разрывает, кладет его перед собой
И соратникам на руки падает воин лесной.

Он, безрукий и мертвый, покинет родимый приют,
А высокие плечи еще паруса понесут.

Я ваш брат, и в мои напряженные жилы вошла,
И меня наклонила, и бросила наземь пила.

Обрубили мне руки, одели меня в паруса,
И в широком их трепете ваши звучат голоса.

Общих слов так немного у чуждых питомцев земли,
Что и вы, разгадав их, запомнить не могли.

И когда я лежал у древесных подножий в лесу,
Мне открылось, что я многолистное бремя несу,

И, уж если я гибну, то корни я кровью пою,
И листва принимает дыханье и силу мою.

Вся держава деревьев склонилась в ту ночь надо мной
И лицо мне омыла чуть слышной своей тишиной.

Д о м н а п р о т и в (с. 178). — Впервые: *Перед снегом*.

Р а н н я я в е с н а (с. 180). — Впервые: *Перед снегом*. В последующих изданиях исключена первая строфа:

С протяжным шорохом под мост уходит крига —
Зимы-гадальщицы захватанная книга,
Вся в птичьих литерах, в сосновой чешуе,
Читать себя велит одной, другой струе.

Крига (старослав.) — льдина, плавучий лед.

В первоначальной редакции первая строка третьего (второго в последующих изданиях) четверостишия читалась: «Девчонки-крашенки с короткими носами...». *Базилевс* (иначе: василевс, базилей) — в Древней Греции правитель небольшого поселения, в Спарте, в эллинистических государствах царь, в Византии — титул императора.

«Над черно-сизой ямою...» (с. 181). — Впервые: *Перед снегом*, под названием «Старые дома».

Загадка с разгадкой (с. 183). — Впервые: *Перед снегом*, без названия, с эпиграфом: «Ионийскую цикаду // Им кузничик заменял... К. Случевский». *Хирон* — персонаж греческой мифологии, кентавр. *Анакреон* (ок. 570—478 до н. э.) — древнегреческий поэт, писал на ионическом диалекте. Его стихи стали символом поэзии, воспевающей радости земного бытия. Анакреонтические стихи писал Г. Р. Державин, также упоминающийся в стихотворении Тарковского. *Кто Державину докука, // Хлебникову брат и друг...* — У Державина и Хлебникова есть стихотворения, посвященные кузничку. *С ионийскою водой...* — Образ, символизирующий в стихотворении связь времен (ср. у Манделштама: «Ионийский чудесный строй»). Ионийский строй — старинный музыкальный лад, соответствующий современному мажору.

На берегу (с. 185). — Впервые: *Перед снегом*, без названия.

У лесника (с. 187). — Впервые: *Перед снегом*, без названия и без первой строфы, с ошибочной датой «1939».

Ода (с. 188). — Впервые: *Перед снегом*.

Рукопись (с. 189). — Впервые: *Перед снегом*, без названия. Стихотворение посвящено А. А. Ахматовой. О дружбе двух поэтов см. примечания к циклу «Памяти А. А. Ахматовой».

ЗЕМЛЕ — ЗЕМНОЕ (1941—1966)

I

Словарь (с. 190). — Впервые: *Звезда*, 1965, № 8.

До стихов (с. 191). — Впервые: *Земле — земное*.

Р и ф м а (с. 192). — Впервые: *Земле — земное*.

П о э т ы (с. 194). — Впервые: *Земле — земное*, с измененной по цензурным соображениям второй строкой третьей строфы: «Так что ж вы мерещитесь в облаке пыли...»

С т и х и в т е т р а д я х (с. 195). — Впервые: *Земле — земное*. В *Избр. стихотворениях* в первоначальной редакции была заключительная строфа:

Сладкое до боли
Головокруженье,
В омут чуждой воли
Душное паденье...

Э с х и л (с. 196). — Впервые: *Земле — земное*.

К а м е н ь н а п у т и (с. 197). — Впервые: *Земле — земное*.

П о э т (с. 198). — Впервые: *Земле — земное*. В качестве эпиграфа взята первая строка из стихотворения А. С. Пушкина «Жил на свете рыцарь бедный...». Стихотворение посвящено Осипу Мандельштаму. *Эту книгу мне когда-то...* — Речь идет о книге О. Мандельштама «Камень». (См.: Альманах библиофила. Выпуск VII. М., 1979, с. 20.)

П а м я т и М. И. Ц в е т а е в о й (с. 200—205). — Как цикл впервые: *Волшебные горы*, без первого стихотворения. А. А. Тарковский познакомился с Цветаевой в 1939 году, вскоре после ее возвращения на родину. Знакомство состоялось благодаря переводчице Нине Герасимовне Бернер-Яковлевой. Через нее Тарковский послал Цветаевой книгу туркменского поэта XIX в. Кемине, где были его переводы. Цветаева ответила ему письмом, черновик которого сохранился в ее записных книжках. Поскольку в некоторых периодических изданиях это письмо цитируется неточно (см., например, материал Ф. Медведева «Судьба моя сгорела между строк...», *Огонек*, 1987, № 3, с. 19), приведем его полностью: «Милый тов. Т. Ваша книга прелестна. Как жаль, что Вы (то есть автор) не прервал стихов. Кажется на: У той душа поет — дыша. Да пос-то <?> камыша... (Речь идет о стихотворении Кемине «Красавицами полон мир...»; см. т. 3 наст. изд. — А. Л.) Я знаю, что так нельзя Вам,

переводчику, но К^емине было можно — и должно. Во всяком случае, на этом нужно было кончить (хотя бы продлив четверостишие). Эти восточные — без острия, для них — все равноценно. Ваш перевод — прелесть. Что Вы можете сами? потому что за другого Вы можете — все. Найдите (полюбите) слова у Вас будут. Скоро я Вас позову в гости — вечером послушать стихи (мои) из будущей книги. Поэтому дайте мне Ваш адрес, чтобы приглашение не блуждало или не лежало, как это письмо. Я бы очень просила Вас этого моего письма никому не показывать, я — человек уединенный, и пишу Вам — другие? (руки и глаза). И никому не говорить, что вот, на днях, усл. мои стихи — скоро у меня будет открытый вечер, тогда все придут. А сейчас я Вас зову по-дружески. Всякая рукопись беззащитна. Я вся — рукопись» (Марина Цветаева. Неизданные письма. Париж, 1972, с. 632). Знакомство поэтов переросло в горячую дружбу. В рукописных сборниках Тарковского есть пометки, свидетельствующие о том, что он показывал некоторые свои стихи Цветаевой и вносил иногда изменения по ее совету. Помимо настоящего цикла, у Тарковского есть стихотворения, посвященные Цветаевой, в цикле «Чистопольская тетрадь».

I. Из старой тетради (с. 200). — Впервые: *Земле — земное*. В *Избр. стихотворениях* завершает раздел «Гостья-звезда», в конце стихотворения примечание поэта: «Оставить две последние строчки — как эпиграф к циклу о М. Цв^етаевой».

II. Стирка белья (с. 200). — Впервые: *День поэзии*, 1965. В *Земле — земное маш.* в конце стихотворения пометки поэта: «Изъято ред^акцией» и «Отстояли спасибо Д. Н. Голубеву».

III. «Друзья, правдолюбцы, хозяева...» (с. 201). — Впервые: *Волшебные горы*. Было изъято редакцией из подготовленной рукописи *Земле — земное*. В *Земле — земное маш.* под названием «Летом 1941».

IV. «Я слышу, я не сплю, зовешь меня, Марина...» (с. 202). — Впервые: *Волшебные горы. И враг шатры свои раскинул на Сионе...* — Кочевное войско Давида воевало за Иерусалим, принадлежавший иевусеям. Иерусалим был построен на трех холмах и защищен крепостью на скале Сион.

V. «Как двадцать два года тому назад...» (с. 203). — Впервые: *Земле — земное*.

VI. «Через двадцать два года...» (с. 203). — Впервые: *Земле — земное*.

Комитас (с. 205). — Впервые: *Звезда*, 1965, № 8. *Комитас* (Согомон Согомонян, 1869—1935) — армянский композитор. В 1910—1919 гг. жил в Константинополе и в 1915 г. после масовой резни армян заболел тяжелым психическим расстройством. *Айя-София* — имеется в виду храм св. Софии в Стамбуле. *Лазарь вышел из гробницы* — см. примеч. к стихотворению «После войны».

Степная дудка (с. 206). — Как цикл впервые: *Земле — земное*, без первого стихотворения.

I. «Жили, воевали, голодали...» — Впервые: *Вестник*.

II. «На каждый звук есть эхо на земле...» — Впервые: *День поэзии*, 1965. *С Овидием... на берегу Дуная...* — Публий Овидий Назон (43 до н.э.—17 н.э.) — римский поэт, был сослан императором Августом в город Томы (порт Констанца в Румынии).

III. «Где вьюгу на латынь...» — Впервые: *Земле — земное*.

IV. «Земля неплодородная, степная...» — Впервые: *Земле — земное*.

«О, только бы привстать, опомниться, очнуться...» (с. 209). — Впервые: *Земле — земное*, под названием «О, только бы привстать...».

Поздняя зрелость (с. 210). — Впервые: *Земле — земное*.

Явь и речь (с. 211). — Впервые: *Земле — земное*. ...*пятерню... Фома вложил...* — Имеется в виду евангельская история о том, как один из учеников Христа Фома, желая удостовериться в том, что перед ним воскресший учитель, вложил в его раны свои персты.

II

Надпись на книге (с. 213). — Впервые: *Земле — земное*.

Песня (с. 214). — Впервые: *День поэзии*, 1965.

В е т е р (с. 215). — Впервые: *Перед снегом*.

П е р в ы е с в и д а н и я (с. 217). — Впервые: *Земле — земное*. Вторая строка первой строфы в первой публикации читалась: «...Мы праздновали, как преображенье».

П о д п р я м ы м у г л о м (с. 219). — Впервые: *Земле — земное*.

Т е м н е е т (с. 220). — Впервые: *Земле — земное*.

Э в р и д и к а (с. 221). — Впервые: *Земле — земное*. *Эвридика* — героиня древнегреческого мифа, возлюбленная легендарного певца Орфея.

Н о ч ь п о д п е р в о е и ю н я (с. 223). — Впервые: *Земле — земное*.

III

В е с е н н я я П и к о в а я д а м а (с. 224). — Впервые: *Земле — земное*. В *Избр. стихотворениях* первоначально под названием «Ранняя весна (II). Зимний Германн». *Зимний Германн поставил...* — Реминисценция из повести Пушкина «Пиковая дама».

Ф о н а р и (с. 226). — Впервые: *Земле — земное*.

Ш и п о в н и к (с. 228). — Впервые: *День поэзии*, 1964. Посвящено Т. А. Озерской-Тарковской.

Д а г е с т а н (с. 229). — Впервые: *Земле — земное*. С Дагестаном связана не только переводческая деятельность А. А. Тарковского, но и его родословная. Дальний предок поэта был удельным князем (шамхалом). По традиции на княжеский престол претендовал старший сын и, боясь междоусобной борьбы, один из младших сыновей князя бежал в Россию. Он поступил на службу к императрице Елизавете, став комендантом крепости на реке Ингул, позднее названной Елизаветградом. *Перо Азраила...* — Азраил (Израил) — в мусульманской мифологии ангел смерти.

И з о к н а (с. 230). — Впервые: *Земле — земное*. В первоначальной редакции вторая строка второй строфы читалась: «В счастливом кристальном напеве...»

П р е в р а щ е н и е (с. 231). — Впервые: *Земле — земное*. В

Избр. стихотворениях первоначально под названием «Превращение по Овидию». *Что дудкой Марса я заморожен...* — Марс (не точно, правильно: Марсий) — персонаж древнегреческих мифов, сатир, достигший необычайного искусства в игре на флейте.

«Мне опостытели слова, слова, слова...» (с. 232). — Впервые: «Вестник», в разделе «Земле — земное». В *Избр. стихотворениях* первоначальный вариант:

Я больше не могу превозносить права
На речь разумную, когда всю ночь о крышу
В отребьях, как вдова, колотится листва.
Оказывается, я просто плохо слышу.

Где для других гремит ночная речь вдовства,
Мне смутно слышатся заумные слова,
И если я скажу березе и рябине,
Что у меня в росе по локоть рукава...

Меж нами есть родство. Меж нами нет родства.
И если я кричу деревьям сумасшедшим,
Что у меня в росе по локоть рукава,
То кроме стога им уже ответить нечем.

Телец, Орион, Большой Пес (с. 233). — Впервые: *Земле — земное*. В названии стихотворения фигурируют имена созвездий. *Плеяды* — рассеянное звездное скопление в созвездии Тельца, в древнегреческой мифологии плеядами звали семерых дочерей Атланта, превращенных Зевсом в созвездие. *Семь струн привязывает к ним Сапфо...* — Сапфо (7—6 вв. до н.э.) — древнегреческая поэтесса. *Сириус... с собачьей головой...* — Сириус — звезда-альфа в созвездии Большого Пса, самая яркая на небе.

Снежная ночь в Вене (с. 235). — Впервые: *Земле — земное*. *Ты безумна, Изора...* — Переключка с трагедией Пушкина «Моцарт и Сальери».

Зимой (с. 236). — Впервые: *Земле — земное*.

Синицы (с. 237). — Впервые: *Земле — земное*.

Конец навигации (с. 238). — Впервые: *Земле — земное*.

Новогодняя ночь (с. 239). — Впервые: *Земле — земное*.

IV

М а л и н о в к а (с. 241). — Впервые: *Земле — земное*.

Ж и з н ь, ж и з н ь... (с. 242). — Впервые: *Земле — земное*.

С н ы (с. 244). — Впервые: *Земле — земное*.

П е т р о в с к и е к а з н и (с. 246). — Впервые: *Земле — земное*. В стихотворении выражено отношение поэта к Петру I, не только приказавшему казнить стрельцов — участников антиправительственного восстания, но и лично рубившему головы на плахе.

Б е с с о н н и ц а (с. 247). — Впервые: *Земле — земное*.

Н о ч н а я р а б о т а (с. 249). — Впервые: *Земле — земное*.

О л и в ы (с. 250). — Впервые: *Звезда*, 1965, № 8. Стихотворение посвящено дочери поэта Марине Тарковской.

К н и г а т р а в ы (с. 252). — Впервые: *Земле — земное*.

Д о р о г а (с. 254). — Впервые: *Земле — земное*. Стихотворение посвящено Николаю Леонидовичу Степанову (1902—1972), литературоведу, близкому другу поэта.

М щ е н и е А х и л л а (с. 255). — Впервые: *Земле — земное*, без последней строфы. В *Избр. стихотворениях* последняя строфа первоначально читалась:

Так не дай пролить мне крови
Ни героев, ни царей,
Чтобы клейкой красной глины
Я не мял рукой своей.

Г р а м м о ф о н н а я п л а с т и н к а (с. 257). — Впервые: *Земле — земное*, с другим порядком расположения стихотворений; первым стояло «Я не пойду на первое свиданье...».

V

СКАЗКИ И РАССКАЗЫ

К у з н е ч и к и (с. 259).

I. «Тикают ходики, ветер горячий...» — Впервые: *Земле — земное*, как отдельное стихотворение.

II. «Кузнечик на лугу стрекочет...» — Впервые: *Земле — земное*, как отдельное стихотворение.

Две лунные сказки (с. 261).

I. Луна в последней четверти. — Впервые: *Земле — земное*.

II. Луна и коты. — Впервые: *Земле — земное*, под названием «Коты».

Телефоны (с. 263). — Впервые: *Вестник*.

Серебряные Руки (с. 264). — Впервые: *Земле — земное*.

Дриада (с. 265). — Впервые: *Земле — земное*. *Дриады* — в греческой мифологии нимфы, покровительницы деревьев.

Две японские сказки (с. 266).

I. Бедный рыбак. — Впервые: *Земле — земное*.

II. Флейта. — Впервые: *Земле — земное*.

Имена (с. 268). — Впервые: *Земле — земное*. *Македонец* — т. е. Александр Македонский. *Есть многое на свете, друг Горацио...* — Цитата из пьесы У. Шекспира «Гамлет».

Румпельштильцхен (с. 270). — Впервые: *Земле — земное*, как часть цикла «Две немецкие сказки» (вместе со стихотворением «Вилли Шнее»).

Русалка (с. 272). — Впервые: *Земле — земное*.

Актер (с. 273). — Впервые: *Стихотворения*.

Лазурный луч (с. 274). — Впервые: *Стихотворения*. Эпиграф взят из романа Г. Уэллса «Война миров»; стихотворение тематически перекликается с романом.

Пауль Клее (с. 277). — Впервые: *Земле — земное*, под названием «Вилли Шнее» как часть цикла «Две немецкие сказки» (вместе со стихотворением «Румпельштильцхен»). В *Избр. стихотворениях* под названием «Пауль Клее». Название в *Земле — земное* изменено по цензурным соображениям, поскольку творчество Пауля Клее осуждалось как крайне буржуазно-реакционное официальной художественной критикой 50—60-х гг. *Клее Пауль* (1879—1940) — швейцарский живописец и график, один из лидеров экспрессионизма, тяготевший к абстрактным и мистико-фантастическим композициям, к стилизации под детские рисунки.

Четвертая палата (с. 279). — Впервые: *Земле — земное*.

Кузнец (с. 281). — Впервые: *Земле — земное*.

Новоселье (с. 282). — Впервые: *Земле — земное*. *Исполнены дилювиальной веры...* — Дилювиальный — от лат. *diluvium* (потоп, наводнение), здесь в смысле: древний, устаревший. *Попокатепетль* — действующий вулкан на юге Мексики высотой 5452 метра.

ВЕСТНИК (1966—1971)

«И я ниоткуда...» (с. 285). — Впервые: *Вестник*. *Я сын твой, отрада // Твоя, Авраам, // И жертвы не надо // Моим временам...* — Авраам — библейский патриарх, от которого Бог для испытания его веры потребовал принести в жертву единственного сына (Бытие, гл. 22).

«Когда вступают в спор природа и словарь...» (с. 286). — Впервые: *Вестник*.

«Я по каменной книге учу вневременный язык...» (с. 287). — Впервые: *Вестник*. *...посох Исайи...* — Исайя — библейский пророк, с особою силой и прямою обличавший грехи соплеменников.

Зима в детстве (с. 288).

I. «В желтой траве отплясали кузнечики...» — Впервые: *Вестник*.

II. Мерещится веялка. — Впервые: *Вестник*.

«Тогда еще не воевали с Германией...» (с. 290). — Впервые: *Вестник*. *Зато у отца, как в Сибири у ссыльного...* — Отец поэта Александр Карлович Тарковский был народовольцем и несколько лет провел в ссылке в Туруханском крае (см. также «Автобиографические заметки» во втором томе наст. изд.). *Сараево* — место, где был убит наследник австро-венгерского престола эрцгерцог Фердинанд, что послужило поводом к началу первой мировой войны. *Мазурские топи* — болота

в Восточной Пруссии, где в начале 1-й мировой войны потерпела поражение армия генерала А. В. Самсонова.

«Позднее наследство...» (с. 291). — Впервые: *Вестник*. Стихотворение написано после поездки на родину поэта в город Кировоград (бывший Елизаветград).

«Я в детстве заболел...» (с. 292). — Впервые: *Вестник*. За крысоловом в реку... — Имеется в виду немецкая легенда о человеке, который уводил за собой крыс, играя на флейте. В отместку за то, что власти города Гаммельна не заплатили ему денег, он увел из города всех детей.

Поэт начала века (с. 294). — Впервые: *Вестник*. Из книги *Земле — земное* было изъято редакцией, о чем есть пометка А. А. Тарковского в *Земле — земное маш*. В одной из бесед Тарковский прокомментировал: «...В этом стихотворении речь вовсе не о каком-нибудь конкретном лирике 1900-х годов (допустим, Миропольском, Александре Добролюбове, Коневском), но скорей о собирательном образе поэта, едва перешагнувшего порог нового века, как уже вдосталь успевшего хлебнуть из его горькой и обжигающей чаши едкое, саднящее зелье беды» (Тарковский А. Держава книги. — В кн.: Альманах библиофила. Выпуск VII. М., 1979, с. 7). Стихотворение выбивается за хронологические рамки раздела. Помещено автором здесь, т. к. впервые опубликовано в 1966 г.

Ночная бабочка «Мертвая голова» (с. 296). — Впервые: *Вестник*.

«Третьи сутки дождь идет...» (с. 297). — Впервые: *Вестник*.

Вторая ода (с. 298). — Впервые: *Вестник*.

Ласточки (с. 299). — Впервые: *Вестник*. Баграт III (975—1014) — грузинский царь, объединивший Западную и значительную часть Восточной Грузии. Симон Чиковани (1902/03—1966) — грузинский поэт, близкий друг А. А. Тарковского (см. во втором томе наст. изд. заметки «Памяти Симона Чиковани»).

«Дом без жильцов заснул и снов не видит...» (с. 300). — Впервые: *Вестник*.

Первая гроза (с. 301). — Впервые: *Вестник*.

Белый день (с. 302). — Впервые: *Вестник*, в разделе «Перед снегом». Первоначально сценарий фильма Андрея Тарковского «Зеркало» назывался «Белый, белый день...». «Белый, белый день» — это ностальгия по недостижимой гармонии детства, по утраченному единству с близкими, по тому счастливому времени, когда «еще все впереди, еще все возможно»... Это чувство наследственное, оно передалось к сыну от отца и с прозрачной ясностью выражено в том самом стихотворении Арсения Александровича Тарковского, которое дало название сценарию, но так и не вошло в фильм...» (Чугунов в М. Фильм — это поступок. — Советский экран, 1987, № 7, с. 7).

«Вот и лето прошло...» (с. 303). — Впервые: *Вестник*.

«Мне бы только теперь до конца не раскрыться...» (с. 304). — Впервые: *Вестник*.

«Мамка птичья и стрекозья...» (с. 305). — Впервые: *Вестник*.

Призовье (с. 306). — Впервые: *Вестник*.

«Пляшет перед звездами звезда...» (с. 307). — Впервые: *Вестник*. *Пляшет перед скинией Давид...* Скиния — переносной шатер-храм. Давид — библейский царь, автор Книги Псалмов.

«Во вселенной наш разум счастливый...» (с. 308). — Впервые: *Вестник*.

«Наша кровь не ревнует по дому...» (с. 309). — Впервые: *Вестник*. *Фазтон* — см. примеч. к стихотворению «Когда под соснами, как подневольный раб...».

«На пространство и время ладони...» (с. 310). — Впервые: *Вестник*.

«Струнам счет ведут на лире...» (с. 311). — Впервые: *Вестник*. *Персефонины стекла...* — Персефона — в древнегреческой мифологии богиня земного плодородия и произрастания злаков.

Памяти А. А. Ахматовой. — Как цикл впервые: *Волшебные горы* без стихотворения «Белые сосны...». Сохранилось много свидетельств современников о дружбе двух поэтов — в воспоминаниях А. Наймана, Г. Глекина и других. «Об Арсении Тар-

ковском Анна Андреевна говорила как о первоклассном поэте:

— Как мог этот поэт, конечно очень хороший, очень умный и талантливый, но до ужаса задавленный Осипом, так вдруг освободиться, так внезапно обрести свой голос, свой абсолютно неповторимый свежий голос? Ведь казалось бы, что Мандельштам полностью им владеет, и вы поймите — ведь Мандельштам и Пастернак в сущности тираны, у них такая власть, что только очень сильный поэт мог бы их в себе преодолеть. А этот взял да и преодолел. Вот он какой! <...> Из современных поэтов — и не подумайте, что это просто старухино брюзжание, — один Тарковский до конца свой, до конца самостоятельный, «автономный», как вам нравится говорить. У него есть важнейшее свойство поэта — я бы сказала — первородство...» (Г л е к и н Г. Что мне было дано. Воспоминания об А. А. Ахматовой. Цитируется по рукописи из архива поэта).

I. «Стелил я снежную постель...» (с. 312). — Впервые: *Стихотворения*.

II. «Когда у Никола Морского...» (с. 312). — Впервые: *Стихотворения*. *Никола Морской* — церковь в Ленинграде, где отпевали А. А. Ахматову.

III. «Домой, домой, домой...» (с. 313). — Впервые: *Стихотворения*. *Комарово* — дачное место под Ленинградом, где летом жила А. А. Ахматова.

IV. «По льду, по снегу, по жасмину...» (с. 314). — Впервые: *Стихотворения*.

V. «Белые сосны...» (с. 315). — Впервые: *НМ*, 1987, № 5.

VI. «И эту тень я проводил в дорогу...» (с. 316). — Впервые: *Стихотворения*.

З а с у х а (с. 317). — Впервые: *Стихотворения*.

Э р е б у н и (с. 318). — Впервые: *Стихотворения*. *Эребуни* — крепость, построенная царем Урарту Аргишти I ок. 782 г. до н. э., развалины которой обнаружены на окраине Еревана. В найденном дворце сохранились остатки росписей: орнаментальные фризы, изображения царей и богов, жанровые сцены.

«Когда под соснами, как подневольный раб...» (с. 319). — Впервые: *Стихотворения*. ...*сестры Фазто-*

на... — Фэтон — персонаж греческих мифов, сын бога солнца Гелиоса. Фэтон умолил отца дать ему на один день управление солнечной колесницей, но не сумел справиться с конями и выронил вожжи. Колесница сбилась с пути, и кони помчали ее близко к земле, отчего загорелись леса и пересохли реки. Чтобы спасти землю, Зевс поразил Фэтона молнией, и он, пылая, упал в реку. Сестры Фэтона, Гелиады, оплакивая гибель брата, превратились в тополя, а их слезы стали янтарем.

«Как сорок лет тому назад, сердцебиение при звуке...» (с. 320). — Впервые: *Стихотворения*.

«Как сорок лет тому назад, я вымок под дождем, я что-то...» (с. 321). — Впервые: *Стихотворения*.

«Хвала измерившим высоты...» (с. 322). — Впервые: *Стихотворения*.

«Стихи попадают в печать...» (с. 323). — Впервые: *Стихотворения*. В *Избр. стихотворениях* в черновике первоначально была вторая строфа:

Тетради берут в переплет,
И рифма в разладе со мною
Беспомощно, как Дон Кихот,
Врезается в днище спиною...

ЗИМНИЙ ДЕНЬ

(1971—1979)

«И это снилось мне, и это снится мне...» (с. 324). — Впервые: *Зимний день*.

«Мне другие мерещатся тени...» (с. 325). — Впервые: *Зимний день*.

Феофан Грек (с. 326). — Впервые: *Зимний день*. Феофан Грек (ок. 1340 — после 1405) — иконописец, родом из Византии, работал в России во второй половине XIV — начале XV вв. Вместе с Андреем Рублевым и Прохором с Городца расписал Благовещенский собор в Московском Кремле. *Самарянин* — милосердный самарянин — символ доброго человека из притчи Иисуса Христа о человеке, спасшем погибавшего от ран путника (Евангелие от Луки, 10, 30—37).

Пушкинские эпиграфы (с. 327). — Как цикл впервые: *Зимний день*. Интересный анализ поэтического языка Пушкина и Тарковского на примере цикла «Пушкинские эпиграфы» сделан Н. А. Кузьминой в статье «Как мимолетное виденье...» (*Русская речь*, 1987, № 3, с. 48—52).

I. «Почему, скажи, сестрица...». — Впервые: *Зимний день*.

II. «Как тот Кавказский Пленник в яме...». — Впервые: *Зимний день*.

III. «Разобрал головоломку...». — Впервые: ЛГ, 1978, 2 авг., с ошибкой в первой строке пятой строфы: «Я стою и ни полслова...»

IV. «В магазине меня обсчитали...». — Впервые: *Зимний день*.

Григорий Сковорода (с. 332). — Впервые: *Зимний день*. *Григорий Сковорода* (1722—1794) — украинский поэт, философ, педагог; с 1770-х гг. вел жизнь странствующего нищего-философа. Сковорода был кумиром А. Тарковского всю жизнь. «Я узнал о его существовании, когда мне было семь лет <...>. Мой отец, народоволец-восьмидесятник, находился в ссылке неподалеку от Якутска и там подружился с украинским социал-демократом Афанасием Ивановичем Михалевичем. Когда срок их пребывания в суровом краю наконец истек, Михалевич решил вернуться вместе с отцом в наш город Елисаветград — ныне Кировоград. Вот он-то и читал мне Сковороду — басни, лирику — и много рассказывал о его скитальческой жизни. Лірники на Украине пели его песни, которые глубоко ушли в народ. Чудо какое он сам и его творчество! Я очень люблю его перечитывать» (ЛГ, 1980, 13 авг., с. 3).

«Где целовали степь курганы...» (с. 333). — Впервые: *Зимний день*.

«Душу, вспыхнувшую на лету...» (с. 335). — Впервые: *День поэзии*, 1979.

«Был домик в три оконца...» (с. 336). — Впервые: ЛГ, 1978, 2 авг.

«Еще в ушах стоит и гром, и звон...» (с. 338). —

Впервые: ЛГ, 1978, 2 авг. *Валя* (Валерий) — старший брат поэта; был убит в возрасте 15 лет во время гражданской войны. *Казенный сад* — городской сад в Елизаветграде.

Ж и л и - б ы л я (с. 340). — Впервые: *Зимний день. ...счел за Гришкины дела...* — Имеется в виду Григорий Распутин, фаворит царской семьи.

«Влажной землей из окна потянуло...» (с. 342). — Впервые: *День поэзии*, 1979.

«Красный фонарик стоит на снегу...» (с. 343). — Впервые: *Зимний день*.

«Меркнет зрение — сила моя...» (с. 344). — Впервые: ЛГ, 1978, 2 авг.

«Просыпается тело...» (с. 345). — Впервые: *День поэзии*, 1978. *Горевать за Петра...* — Стихотворение связано с евангельской темой отречения Петра от Христа.

Б о б ы л ь (с. 346). — Впервые: *Зимний день*.

«Ночью медленно время идет...» (с. 347). — Впервые: ЛГ, 1978, 2 авг.

З и м а в л е с у (с. 348). — Впервые: *Зимний день*.

М а р т о в с к и й с н е г (с. 350). — Впервые: *Зимний день*.

«Я тень из тех теней, которые, однажды...» (с. 351). — Впервые: *Зимний день*.

«С безымянного пальца кольцо...» (с. 352). — Впервые: *Зимний день*.

М а н е к е н (с. 353). — Впервые: *Зимний день*.

«Тот жил и умер, та жила...» (с. 354). — Впервые: *Зимний день*.

«В последний месяц осени...» (с. 355). — Впервые: *День поэзии*, 1979.

«Сколько листвы намело. Это легкие наших деревьев...» (с. 356). — Впервые: *День поэзии*, 1979.

«А все-таки я не истец...» (с. 357). — Впервые: *День поэзии*, 1978.

«Бабочки хохочут как безумные...» (с. 358). — Впервые: *Зимний день*.

ОТ ЮНОСТИ ДО СТАРОСТИ

(1933—1983)

В раздел включены стихотворения из сборника *От юности до старости*, до того в книгах не публиковавшиеся. Стихи из других сборников, добавленные в *От юности до старости*, расположены согласно *Избранному*.

«Я не был убит на войне...» (с. 359). — Впервые: ДН, 1986, № 5.

Памяти друзей (с. 360). — Впервые: Сельская молодежь, 1984, № 12.

«Здесь дом стоял. Жил в нем какой-то дед...» (с. 362). — Впервые: ДН, 1986, № 5.

Полька (с. 363). — Впервые: Сельская молодежь, 1984, № 12.

«Смятенье смутное мне приносят...» (с. 364). — Впервые: ЛА, 1983, № 4.

Дума (с. 365). — Впервые: ЛГ, 2.11.1983.

«За хлеб мой насущный, за каждую каплю воды...» (с. 367). — Впервые: ЛА, 1983, № 4.

«Из просеки, лунным стеклом...» (с. 368). — Впервые: ДН, 1986, № 5.

«Невысокие, сырые...» (с. 369). — Впервые: Сельская молодежь, 1984, № 12.

«Стол накрыт на шестерых...» (с. 371). — Впервые: ЛА, 1983, № 4, без эпитафия. В *Собеседнике* с эпитафием. В *Земле — земное маш.* без эпитафия под названием «Гости». В *Первой тетради* первая строка читалась: «Стол накрыт на шестерых...» В *Земле — земное маш.* изменено на: «Стол накрыт на четверых...» В дальнейшем восстановлен первоначальный вариант. Из сборника *Земле — земное* изъято издательством. Первую строку этого стихотворения (с ошибкой) М. И. Цветаева взяла эпитафием к последнему из дошедших до нас ее стихотворений:

«Я стол накрыл на шестерых...»

Все повторяю первый стих
И все переправляю слово:
— «Я стол накрыл на шестерых»...
Ты одного забыл — седьмого.

Невесело вам вшестером,
На лицах — дождевые струи...
Как мог ты за таким столом
Седьмого позабыть — седьмую...

Невесело твоим гостям,
Бездействует графин хрустальный.
Печально — им, печален — сам,
Непозванная — всех печальней.

Невесело и несветло.
Ах! не едите и не пьете.
— Как мог ты позабыть число?
Как мог ты ошибиться в счете?

Как мог, как смел ты не понять,
Что шестеро (два брата, третий —
Ты сам — с женой, отец и мать)
Есть семеро — раз я на свете!

Ты стол накрыл на шестерых,
Но шестерыми мир не вымер.
Чем пугалом среди живых —
Быть призраком хочу — с твоими,

(Своими)...

Робкая, как вор,
О — ни души не задевая! —
За непоставленный прибор
Сажусь незваная, седьмая.

Раз! — опрокинула стакан!
И все, что жаждало пролиться, —
Вся соль из глаз, вся боль из ран —
Со скатерти — на половицы.

И — гроба нет! Разлуки — нет!
Стол расколдован, дом разбужен.
Как смерть — на свадебный обед,
Я — жизнь, пришедшая на ужин.

...Никто: не брат, не сын, не муж,
Не друг — и все же укоряю:
— Ты, стол накрывший на шесть душ,
Меня не посадивший с краю.

6 марта 1941

Ссора (с. 373). — Впервые: Юность, 1987, № 6.

«Лучше я побуду в коридоре...» (с. 375). — Впервые: *От юности до старости*.

«Какие скорбные просторы...» (с. 376). — Впервые: Сельская молодежь, 1984, № 12.

Посвящение (с. 378). — Впервые: *От юности до старости*.

«— Здравствуй, — сказал я, а сердце упало...» (с. 383). — Впервые: *От юности до старости*.

«Кем налит был стакан до половины...» (с. 384). — Впервые: ДН, 1986, № 5.

«Мне странно, и душно, и томно...» (с. 385). — Впервые: *От юности до старости*.

Из Анакреона (с. 387). — Впервые: *От юности до старости*. Анакреон — см. примеч. к стихотворению «Загадка с разгадкой». Эрот (Эрос) — в древнегреческой мифологии божество любви.

Надпись к портрету Байрона (с. 388). — Впервые: *От юности до старости*. ...ветер Ньюстеда... — Байрон был похоронен в местечке Хакналл, недалеко от Ньюстеда. Об отношении А. Тарковского к Байрону см.: Байрон. Заметки на полях книги (т. 2 наст. изд.).

Шотландская песня (с. 389). — Впервые: ЛА, 1983, № 4, без названия.

Масличная роща (с. 390). — Впервые: *От юности до старости*.

«Все стало таким, будто мост разводят...» (с. 393). — Впервые: ЛА, 1983, № 4.

«Да не коснутся тьма и тлен...» (с. 395). — Впервые: ЛА, 1983, № 4.

«Я вспомнил далекие годы...» (с. 397). — Впервые: ДН, 1986, № 5.

«Кто небо мое разглядит из окна...» (с. 399). — Впервые: ЛА, 1983, № 4.

Медем (с. 400). — Впервые: ЛА, 1983, № 4.

Ноты (с. 402). — Впервые: ЛГ, 4.2.1987.

«Мне снится какое-то море...» (с. 403). — Впервые: ЛА, 1983, № 4. В первоначальной публикации первая строчка читалась: «Мне снится холодное море...» В *Собеседнике* дата «1944» заменена на «1941» и приписано: «Ошибка в дате, написано еще при жизни Марины Цветаевой; по ее совету ранее удалена одна строфа». *Титаник* — название морского корабля, который в 1912 году столкнулся с айсбергом в Атлантическом океане и затонул.

«Пора бы мне собственный возраст понять...» (с. 404). — Впервые: ЛГ, 1983, 2 нояб.

Ардон (с. 405). — Впервые: ДН, 1986, № 5.

«Как золотая птичка...» (с. 408). — Впервые: ЛГ, 2.11.1983.

Юрьевец (с. 410). — Впервые: *От юности до старости*. Юрьевец — город на Волге. В селе Завражье Юрьевского района в начале 30-х гг. жила семья поэта.

«Пес дворовый с улицы глядит в окошко...» (с. 411). — Впервые: *От юности до старости*.

А. Лаврин

ОТ СОСТАВИТЕЛЯ

Выражаю глубокую признательность Александру Павловичу Лаврину, оказавшему серьезную помощь в подготовке этого издания.

Т. Озерская-Тарковская

СО Д Е Р Ж А Н И Е

Кирилл Ковальджи. «Загореться посмертно, как слово...» . . . 5

СТИХОТВОРЕНИЯ

ГОСТЬЯ-ЗВЕЗДА

(1929—1940)

Перед листопадом	27
Прохожий	28
Колыбель	29
«Река Сугаклея уходит в камыш...»	31
Дом	32
«Зеленые рощи, зеленые рощи...»	33
«Под сердцем травы тяжелеют росинки...»	34
«Если б, как прежде, я был горделив...»	35
Ночной дождь	36
«Записал я длинный адрес на бумажном лоскутке...»	37
«Я боюсь, что слишком поздно...»	38
Страус в 1913 году	40
Град на Первой Мещанской	41
25 июня 1935 года	42
«Отнятая у меня, ночами...»	43
Игнатьевский лес	44
«Когда купальщица с тяжелою косой...»	45

Мельница в Даргавском ущелье	46
Портрет	47
«Я так давно родился...»	48
Дождь	50
25 июня 1939 года	51
Дождь в Тбилиси	52
«Ты, что бабочкой черной и белой...»	54
«С утра я тебя дожидался вчера...»	55
Ялик	56
Звездный каталог	57
Цейский ледник	58
Сверчок	59

ПЕРЕД СНЕГОМ

(1941—1962)

I	
Только грядущее	61
Руки	63
К стихам	64
«Я учился траве, раскрывая тетрадь...»	65
Степь	67
Стань самим собой	69
Слово	71
«Я прощаюсь со всем, чем когда-то я был...»	73
«Я долго добивался...»	75
Кактус	77
Дерево Жанны	78
«Вы, жившие на свете до меня...»	80
Кора	81
Сократ	82
Карловы Вары	83
Утро в Вене	84
Анжело Секки	85
«Пускай меня простит Винсент Ван Гог...»	87
Балет	89
В музее	91

Переводчик	92
«Порой по улице бредешь...»	94
Могила поэта	
I. «За мертвым сиротливо и пугливо...»	96
II. «Венков еловых птичьих лапки...»	97
В дороге	98
Земное	99
 II	
Близость войны	100
Чистопольская тетрадь	
I. «Льнут к Господнему порогу...»	101
II. «Беспомощней, суровее и суше...»	103
III. «Вложи мне в руку Николин образок...»	104
IV. Беженец	105
V. «Дровяные, погонные возвожу алтари...»	106
VI. «Смерть на все накладывает руку...»	107
VII. «Нестерпимо во гневе караешь, Господь...»	108
VIII. «Упала, задохнулась на бегу...»	109
IX. «Вы нашей земли не считаете раем...»	110
X. «Зову — не отзывается, крепко спит Марина...»	111
Суббота, 21 июня	112
«Русь моя, Россия, дом, земля и мать!...»	114
«Тебе не наскучило каждому сниться...»	116
Проводы	118
«Чего ты не делала только...»	119
Портной из Львова, перелицовка и починка (Октябрь, 1941)	122
«Хорошо мне в теплушке...»	124
«Ехал из Брянска в теплушке слепой...»	126
Песня под пулями	127
«На черной трубе погорелого дома...»	128
«Стояла батарея за этим вот холмом...»	129
Полевой госпиталь	130
Бабочка в госпитальном саду	132
Земля	134

Иванова ива	135
Охота	136
Чем пахнет снег	137
После войны	
1. «Как дерево поверх лесной травы...»	140
2. «Меняхватило бы на все живое...»	140
3. «Бывает в летнюю жару лежишь...»	141
4. «Как дерево с подмытого обрыва...»	141
5. «Приди, возьми, мне ничего не надо...»	142
Предупреждение	143
Зуммер	144
 III	
«Снова я на чужом языке...»	145
«Вечерний, сизокрылый...»	146
Титания	147
«Сирени вы, сирени...»	148
«Жизнь меня к похоронам...»	149
«Мне в черный день приснится...»	151
 IV	
Затмение солнца. 1914	153
Елена Молоховец	155
Юродивый в 1918 году	156
«Мы шли босые, злые...»	158
«Встали хлопцы золотые...»	159
Стихи из детской тетради	161
«Кухарка жирная у скарעד...»	163
Вещи	165
Фотография	167
Греческая кофейня	168
Верблюд	169
 V	
Мотылек	171
Посредине мира	172
Малютка-жизнь	173

Голуби	174
Деревья	
I. «Чем глуше крови страстный ропот...»	175
II. «Державы птичьей нищеты...»	176
Дом напротив	178
Ранняя весна	180
«Над черно-сизой ямою...»	181
Загадка с разгадкой	183
На берегу	185
У лесника	187
Ода	188
Рукопись	189

ЗЕМЛЕ — ЗЕМНОЕ

(1941—1966)

I	
Словарь	190
До стихов	191
Рифма	192
Поэты	194
Стихи в тетрадах	195
Эсхил	196
Камень на пути	197
Поэт	198
Памяти М. И. Цветаевой	
I. Из старой тетради	200
II. Стирка белья	200
III. «Друзья, правдолюбцы, хозяева...»	201
IV. «Я слышу, я не сплю, зовешь меня, Марина...»	202
V. Как двадцать два года тому назад	203
VI. Через двадцать два года	203
Комитас	205
Степная дудка	
I. «Жили, воевали, голодали...»	206
II. «На каждый звук есть эхо на земле...»	206
III. «Где вьюгу на латынь...»	207

IV. «Земля неплодородная, степная...»	207
«О, только бы привстать, опомниться, очнуться...»	209
Поздняя зрелость	210
Явь и речь	211
II	
Надпись на книге	213
Песня	214
Ветер	215
Первые свидания	217
Под прямым углом	219
Темнеет	220
Эвридика	221
Ночь под первое июня	223
III	
Весенняя Пиковая дама	224
Фонари	226
Шиповник	228
Дагестан	229
Из окна	230
Превращение	231
«Мне опостытели слова, слова, слова...»	232
Телец, Орион, Большой Пес	233
Снежная ночь в Вене	235
Зимой	236
Синицы	237
Конец навигации	238
Новогодняя ночь	239
IV	
Малиновка	241
Жизнь, жизнь	
1. «Предчувствиям не верю, и примет...»	242
2. «Живите в доме — и не рухнет дом...»	242
3. «Я век себе по росту подбирал...»	243
Сны	244

Петровские казни	246
Бессонница	247
Ночная работа	249
Оливы	250
Книга травы	252
Дорога	254
Мщение Ахилла	255
Граммфонная пластинка	
I. «Июнь, июль, пройди по рынку...»	257
II. «Я не пойду на первое свиданье...»	257
V	
Сказки и рассказы	
Кузнечики	
I. «Тикают ходики, ветер горячий...»	259
II. «Кузнечик на лугу стрекочет...»	260
Две лунные сказки	
I. Луна в последней четверти	261
II. Луна и коты	262
Телефоны	263
Серебряные Руки	264
Дриада	265
Две японские сказки	
I. Бедный рыбак	266
II. Флейта	266
Имена	268
Румпельштильцхен	270
Русалка	272
Актер	273
Лазурный луч	274
Пауль Клее	277
Четвертая палата	279
Кузнец	281
Новоселье	282

«И я ниоткуда...»	285
«Когда вступают в спор природа и словарь...»	286
«Я по каменной книге учу вневременный язык...»	287
Зима в детстве	
I. «В желтой траве отплясали кузнечики...»	288
II. Мерещится веялка	288
«Тогда еще не воевали с Германией...»	290
«Позднее наследство...»	291
«Я в детстве заболел...»	292
Поэт начала века	294
Ночная бабочка «Мертвая голова»	296
«Третьи сутки дождь идет...»	297
Вторая ода	298
Ласточки	299
«Дом без жильцов заснул и снов не видит...»	300
Первая гроза	301
Белый день	302
«Вот и лето прошло...»	303
«Мне бы только теперь до конца не раскрыться...»	304
«Мамка птичья и стрекозья...»	305
Приазовье	306
«Пляшет перед звездами звезда...»	307
«Во вселенной наш разум счастливый...»	308
«Наша кровь не ревнует по дому...»	309
«На пространство и время ладони...»	310
«Струнам счет ведут на лире...»	311
Памяти А. А. Ахматовой	
I. «Стелил я снежную постель...»	312
II. «Когда у Николы Морского...»	312
III. «Домой, домой, домой...»	313
IV. «По льду, по снегу, по жасмину...»	314
V. «Белые сосны...»	314
VI. «И эту тень я проводил в дорогу...»	315

Засуха	317
Эребуни	318
«Когда под соснами, как подневольный раб...»	319
«Как сорок лет тому назад, сердцебиение при звуке...»	320
«Как сорок лет тому назад, я вымок под дождем...»	321
«Хвала измерившим высоты...»	322
«Стихи попадают в печать...»	323

ЗИМНИЙ ДЕНЬ

(1971—1979)

«И это снилось мне, и это снится мне...»	324
«Мне другие мерещатся тени...»	325
Феофан Грек	326
Пушкинские эпитафии	
I. «Почему, скажи, сестрица...»	327
II. «Как тот Кавказский Пленник в яме...»	328
III. «Разобрал головоломку...»	329
IV. «В магазине меня обсчитали...»	330
Григорий Сковорода	332
«Где целовали степь курганы...»	333
«Душу, вспыхнувшую на лету...»	335
«Был домик в три оконца...»	336
«Еще в ушах стоит и гром и звон...»	338
Жили-были	340
«Влажной землей из окна потянуло...»	342
«Красный фонарик стоит на снегу...»	343
«Меркнет зрение — сила моя...»	344
«Просыпается тело...»	345
Бобыль	346
«Ночью медленно время идет...»	347
Зима в лесу	348
Мартовский снег	350
«Я тень из тех теней, которые однажды...»	351
«С безымянного пальца кольцо...»	352
Манекен	353

«Тот жил и умер, та жила...»	354
«В последний месяц осени...»	355
«Сколько листвы намело. Это легкие наших деревьев...»	356
«А все-таки я не истец...»	357
«Бабочки хохочут как безумные...»	358

ОТ ЮНОСТИ ДО СТАРОСТИ

(1933—1983)

«Я не был убит на войне...»	359
Памяти друзей	360
«Здесь дом стоял. Жил в нем какой-то дед...»	362
Полька	363
«Смятенье смутное мне приносят...»	364
Дума	365
«За хлеб мой насущный, за каждую каплю воды...»	367
«Из просеки, лунным стеклом...»	368
«Невысокие, сырые...»	369
«Стол накрыт на шестерых...»	371
Ссора	373
«Лучше я побуду в коридоре...»	375
«Какие скорбные просторы...»	376
Посвящение	378
« — Здравствуй, — сказал я, а сердце упало...»	383
«Кем налит был стакан до половины...»	384
«Мне странно, и душно, и томно...»	385
Из Анакреона	387
Надпись к портрету Байрона	388
Шотландская песня	389
Масличная роща	390
«Все стало таким, будто мост разводят...»	393
«Да не коснутся тьма и тлен...»	395
«Я вспомнил далекие годы...»	397
«Кто небо мое разглядит из окна...»	399
Медем	400
Ноты	402

«Мне снится какое-то море...»	403
«Пора бы мне собственный возраст понять...»	404
Ардон	405
«Как золотая птичка...»	408
Юрвец	410
«Пес дворовый с улицы глядит в окошко...»	411
Примечания	414

Тарковский А.

Т19 Собрание сочинений. В 3 т. Т. 1. Стихотворения / Сост. Т. Озерской-Тарковской; Вступ. ст. К. Ковальджи; Примеч. А. Лаврина. — М.: Худож. лит., 1991. — 462 с., ил.

ISBN 5-280-02324-8 (Т. 1)

ISBN 5-280-02325-6

В первый том Собрания сочинений А. А. Тарковского (1907—1989) вошли стихотворения из изданных при жизни поэта сборников «Перед снегом», «Земле — земное», «Вестник», «Зимний день» и «От юности до старости».

Т 4702010202-258 Подписное
028(01)-91

ББК 84Р7

АРСЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
ТАРКОВСКИЙ

*Собрание сочинений
в трех томах*

Том первый

Редактор *Е. Дворецкая*
Художественный редактор
Е. Ененко

Технический редактор
В. Нефедова

Корректоры
О. Добрымислова, О. Победимова

ИБ № 6948

Сдано в набор 28.12.90. Подписано в печать
30.07.91. Формат 70×100^{1/32}. Бумага офс. № 1. Гар-
нитура «Баскервиль». Печать офсетная. Усл. печ.
л. 18,79+вкл.+альб.=19,48. Усл. кр.-отт. 39,12.

Уч.-изд. л. 12,61+вкл.+альб.=13,15. Тираж
50 000 экз. Изд. № Ш-3970.

Заказ № 2064. Цена 5 р.

Ордена Трудового Красного Знамени издатель-
ство «Художественная литература».
107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19

Ордена Трудового Красного Знамени Тверской
полиграфический комбинат. Государственная
ассоциация предприятий, объединений и органи-
заций полиграфической промышленности
«АСПОЛ».

170024, Тверь, пр. Ленина, 5